

Дневник

Дмитрий ЩЕГЛОВ

Фаина
РАНЕВСКАЯ:
«Судьба-шлюха»

ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва
Астрель
2003

УДК 792(092)
ББК 85.334.3(2)6-8
Ф 17

Автор-составитель
Д. А. Щеглов

Выражаю сердечную благодарность и признательность
сотрудникам Государственного архива литературы
и искусства за помощь в создании книги.

Компьютерный дизайн Герцевой Ю. Ю.
Художник Федичкин Ю. Д.

Подписано в печать 17.09.03. Формат 70x90^{1/2}. Бумага Сокольская.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 7,6. Тираж 30 000 экз. Заказ № 2938
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.008286.12.02 от 09.12.2002 г.

Ф17 Фаина Раневская: «Судьба — шлюха» /
Авт.-сост. Д. А. Щеглов. — М.: ООО «Изда-
тельство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,
2003. — 203, [5] с.

ISBN 5-17-014443-1 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-05569-8 (ООО «Издательство Астрель»)

Фаина Раневская. Великая актриса и скандальная
особа, язвительная дама с искрометным юмором и фи-
лософ с сигаркой в зубах... Ее боялись и боготворили, с
ней искали встреч и ее избегали. Слишком страшно было
оказаться на месте человека, напильного на иглу ее
афористических резолюций. Но мало кто знал, что в
незаурядной личности таится страшно одинокая и ра-
нинная душа...

Какой она была в жизни, как складывалась ее твор-
ческая судьба и что происходило на самом деле, может
рассказать только она сама со страниц той книги, кото-
рую она так и не написала...

УДК 792(092)
ББК 85.334.3(2)6-8

© ООО «Издательство АСТ», 2003
© ООО «АСТОЛ», 2003

ИСПЫТЫВАЮ НЕПРЕОДОЛИМУЮ ЗАВИСТЬ

То, что вы сейчас прочтете, — наиболее полный на сегодняшний день свод текстов Фаины Георгиевны Раневской. Слово «сейчас» — не случайно. Уверенность, что фрагменты книги, написанные ее рукой, читаются в один присест, подтверждается постоянно. В истории культуры найдется не так много личностей, как это может показаться на первый взгляд, о которых интересно решительно все: обстоятельства их жизни, высказывания, афоризмы, ядовитые уколы. Многие замечательные актеры признавались, что старались держать с ней дистанцию, просто оттого, что не перенесли бы ее гнева. Слишком велика была колдовская сила ее дара и личности. И слишком страшно было оказаться в положении человека нашпиленным на иглу ее афористичных резолюций.

Кому приятно войти в историю культуры «б... в кепочке»?

Или «амазонками в климаксе»?

Все пройдет, а это останется... При ней было страшно ступать, говорить, строить роль. Словно некий чудовищный организм не вполне земного происхождения, она видела людей и дела их сквозь призму

своего ни на что не похожего гения. И сколь же могучей была отдача ее приятия, жалости и любви, когда происходило приятие человека.

По всем публикациям о Раневской разбросаны упоминания об обидах и несправедливостях, которые выпали на долю актрисы. Ничтожное количество ролей в кино, одиночество, горечь отчаяния — рассуждения на эту тему давно стали хорошим тоном и общим местом. Но что и как происходило на самом деле, кто играл — как это принято выражаться — «неблаговидные» роли, порой уходит из кадра. Точнее, остается за полями той книги, которую так и не написала Фаина Георгиевна. Некоторые фрагменты помещенных здесь текстов дают об этом представление.

Почти полвека проработала Раневская в московских театрах. Шесть лет — в Театре Советской Армии, столько же — у Охлопкова, восемь — у Равенских в Театре им. Пушкина. В начале шестидесятых во время репетиции в этом театре ей сделали замечание: «Фаина Георгиевна, говорите четче, у вас как будто что-то во рту». Напросились. «А вы разве не знаете, что у меня полон рот говна?!» И вскоре ушла.

Без малого тридцать лет «прослужила» у Ю. А. Завадского в Театре им. Моссовета. Отсюда Раневская тоже несколько раз уходила, возвращалась и вновь писала заявление об уходе. Завадский старался не помнить обид. Точнее, не хотел на них сосредотачиваться. Он умел казаться великодушным. Это только часть правды. О взаимоотношениях Раневской и Завадского можно написать отдельную книгу: извечный конфликт между КАЗАТЬСЯ и БЫТЬ нашел в их личностях достойное драматургическое продолжение. Был ли

Завадский ее злым гением? Судить об их отношениях не коммунальным театроведам. Знаю, что в конце жизни Фаина Георгиевна нашла теплые слова, посвященные его памяти.

Да дело и не в одном Завадском. Здесь уместнее вспомнить замечание Раневской об Эйзенштейне: «Трудно быть гением среди козлявок...»

Несопоставимость масштабов личностей — ситуация непоправимая. Это судьба. И подлинная тема уничтоженной книги Раневской.

Среди многочисленных недугов Фаины Георгиевны несомненно значилась мания совершенства. Ее дар был неделим. Так, как она создавала свои роли, так — полагала — должна создаваться и книга. «А если не сказать всего, значит, ничего не сказать», — говорила она. И уничтожила все написанное за три года. Безжалостно и непоправимо, считая, что на языке Пушкина и Толстого писать «пожилой актрисе» не следует.

Что ж... Остается жалеть, что среди ее болезней не нашлось места только одной: графомании.

К счастью для нас, контуры этой огромной «ненаписанной книги» остались во фрагментах, хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Школьные тетрадки, обрывки, рецепты, какие-то картонки. Почерк иногда такой, что кричать хочется. «С моим почерком меня никогда бы не приняли в следователи, только в бандиты», — говорила актриса. Часть этих «бандитских» записей публиковалась и ранее, другая впервые помещена в этой книге.

Это только Раневская. Без комментаторов и комментариев, которых бы она не потерпела. И расположены они не по мере их написания в дневниках, а

так, чтобы по возможности избежать пояснений. Тех, кому кажется, что это не удалось, отсылаю к моей книге «Фаина Раневская. Монолог». А здесь пусть останутся только записи «пожилой актрисы».

Иными словами, это не история черновиков, а история тем и личностей. Станиславский, Таиров, Михоэлз, Качалов, Ахматова, Павла и Ирина Вульф... Одиночество, дар, скитания, страхи, влюбленности, очарования, гнев и жалость. Не хотелось бы в очередной раз представлять Раневскую как автора театральных реприз. Она стала автором своего Жития. Рассказанное о ней порой так же органично сливается со сказанным ею самой, как новеллы Хармса о «Пушкине и Толстом», как анекдоты. Она Автор в самом глубоком и единственном смысле слова, и одними байками тут не отделаться.

Но... одна, почти крамольная мысль... Вдруг эти записи и есть ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант той книги, которую Фаина Георгиевна МОГЛА нам оставить. Ведь для чего-то же сдала она их на хранение в АРХИВ. Может быть, абсолютное чувство стиля не позволило ей ограничиться добротными актерскими мемуарами, а подарить эти разлетающиеся листочки ее неотогретой жизни.

Впрочем, с какой определенностью можно судить о человеке, воскликнувшем: «А может быть, поехать в Прибалтику? А если я там умру? Что я буду делать?»

Д. Щеглов

«СКРОМНОСТЬ ИЛИ ЖЕ САТАНИНСКАЯ ГОРДЫНЯ?..»

Милый, дорогой Виктор Платонович!

...Книжку (повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». — Д. Щ.) читала с восторгом, с восхищением и чувством черной зависти. Хотелось бы и мне так писать. Получила грозное предупреждение из издательства. Строчки не могу выдавить.

Пожалуй, единственная болезнь, которой нет у меня, — графомания, а как бы сейчас она мне пригодилась.

(Из письма Ф. Раневской писателю В. Некрасову)



Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо — не хочется. Хорошо — неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манишке.

В том, с какой бесцеремонностью ко мне пристают с требованием писать о себе, — есть бессердечие. ...Я знаю самое главное, я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю с этой отдачей.

Если бы уступила просьбам и стала писать о себе — это была бы «жалобная книга».

«Судьба — шлюха».

...Не могу записывать, ни к чему. Противно брать в руки карандаш. Надо писать только одну фразу: «Все проходит». ...И к тому же у меня непреодолимое отвращение к процессу писания. «Писанина». Лепет стариковский, омерзительная распущенность, ненавижу мемуары актерские. Кроме книжки П. Л. (Вульф. — Д. Щ.)



Все бранят меня за то, что я порвала книгу воспоминаний. Почему я так поступила?

Кто-то сказал, кажется, Стендаль: «Если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза». И это решило судьбу книги. Когда она усыпала пол моей комнаты, — листья бумаги валялись обратной стороной, т. е. белым, и было похоже, что это мертвые птицы. «Воспоминания» — невольная сплетня. О себе говорить неудобно (а очень хочется). «Воспоминания» — это от чего? У меня от одиночества смертного.

...Писать должны писатели, а актерам положено играть на театре.

Все ушли... Рядом бродяга, псина, безумно ее полюбила. Думаю, что собаки острее чувствуют, потому что не умеют говорить. Заразила я ее бессонницей и моей звериной тоской. Когда ухожу, она плачет. Беру ее с собой в театр, а потом рвусь к ней. Мне еще никто так не радовался.

...Наверное, зря порвала все, что составило бы книгу, о которой просило ВТО. И аванс надо теперь возвращать 2 т. Бог с ними, с деньгами, соберу, отдам аванс, а почему уничтожила? Скромность или же сатанинская гордыня? Нет, тут что-то другое. ...Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных. Я очень хорошо знаю, что талантлива, а что я создала? Пропищала, и только. Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Кто мучился, когда я сидела без работы? Никому я не была нужна. Охлопков, Завадский, Алекс. Дмитр. Попов были снисходительны, Завадский ненавидел. Я бегала из театра в театр, искала, не находила. И это все. Личная жизнь тоже не состоялась. ...В театре Завадского заживо гнию.



Иногда приходит в голову что-то неглупое, но я тут же забываю это неглупое. Умное давно не посещает мои мозги.

...Книга должна быть написана художником или мыслителем. Гений — это талант умершего.

Вот почему порвала мой опус.

...Воспоминания — это богатство старости.

«ВОСПОМИНАНИЕ — НЕВОЛЬНАЯ СПЛЕТНЯ»

Сегодня Л., с которой мы гуляли в Ботаническом саду, шлепая по лужам, сказала: «Я хорошо понимаю то, что вы теперь постоянно вспоминаете детство, эти воспоминания — «грезы старости».



Наверное, скоро умру. Мне видится детство все чаще и чаще. Разные события всплывают из недр памяти и волнуют до сердцебиения.

Я вижу двор, узкий и длинный, мощный булыжником. Во дворе сидит на цепи лохматая собака с густой свалявшейся шерстью, в которой застрял мусор и даже гвозди, — по прозвищу Букет. Букет всегда плачет и гремит цепью. Я люблю его. Я обнимаю его за голову, вижу его добрые, умные глаза, прижимаюсь лицом к морде, шепчу слова любви. От Букета плохо пахнет, но мне это не мешает. В черном небе — белые звезды, от них светло. И мне видно из окна, как со двора волокут нашу лошадь. Кучер говорит,

что лошадь подохла от старости и что тащат ее на живодерню.

Я не знаю, что такое живодерня. Мне пять лет.



...В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль за спасение утопающих...

У дворника на пиджаке медаль, мне очень она нравится, я хочу такую же, но медаль дают за храбрость — объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок, достойный медали.

В нашем городе очень любили старика, доброго, веселого, толстого грузина-полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавающая в море, стал тонуть и чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть и за это мне дали медаль, как у нашего дворника.

Теперь медали, ордена держу в коробке, где нацарапала: «Похоронные принадлежности».



...Испытываю непреодолимое желание повторять все, что делает дворник. Верчу козью ножку и произношу слова, значение которых поняла только взрослой. Изображаю всех, кто попадает на глаза. «Подайте Христа ради», — произношу вслед за нищим; «Сахарная мороженая», — кричу вслед за мороженщиком; «Иду на Афон Богу молиться», — шамкаю беззубым ртом и хожу с палкой скрючившись, а мне 4 года.

Актрисой себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его,

день плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале — посмотреть, какая я в слезах.

...Я стою в детской на подоконнике и смотрю в окно дома напротив. Нас разделяет узкая улица, и потому мне хорошо видно все, что там происходит.

Там танцуют, смеются, визжат. Это бал в офицерском собрании.

Мне семь лет, я не знаю слов «пошлость» и «мещанство», но мне очень не нравится все, что вижу на втором этаже в окне дома напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером, так хохотать и гримасничать!..

Там чужие, они мне не нравятся, но я смотрю на них с интересом.

Потом офицеры и их дамы уехали, и в доме напротив поселилась учительница географии — толстая важная старуха, у которой я училась, поступив в гимназию. Она ставила мне двойки и выгоняла из класса, презирая меня за невежество в области географии. В ее окно я не смотрела, там не было ничего интересного.

Через много лет, став актрисой, я получила роль акушерки Змеюкиной в чеховской «Свадьбе». Мне очень помогли мои детские впечатления-воспоминания об офицерских балах. Помогли наблюдательность, стремление увидеть в человеке характерное: смешное или жалкое, доброе или злое...

Играть, представлять кого-либо из людей, мне знакомых, я стала лет с пяти и часто бывала наказана за эти показы...



Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну немку. Ночью молила Бога, чтобы, катаясь на коньках, упала и расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала запоем. Где кого-то обижали, плакала навзрыд, — тогда отнимали книгу и меня ставили в угол.

Училась плохо, арифметика была страшной пыткой. Писать без ошибок так и не научилась. Считать тоже. Наверное, потому всегда, и по сию пору, всегда без денег...

...В семье была нелюбима. Мать обожала, отца боялась и не очень любила.

Учиться я начала, повзрослев. И теперь, в старости, стараюсь узнать больше и больше.

Часто вспоминаю мудреца: «...знаю только то, что ничего не знаю...»

Всегда завидовала таланту: началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре гимназист — читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергало меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались «Белое покрывало». Кончалось чтение словами: «...так могла солгать лишь мать». Гимназист зарыдал, я была в экстазе.

Подруга сестры читала стихи: «Увидев почерк мой, Вы, верно, удивитесь, я не писала Вам давно и думаю, Вам это все равно». Подруга сестры тоже и рыдала, и хохотала. И опять мой восторг, и зависть, и горе — почему у меня ничего не выходило, когда я пыталась им подражать. Значит, я не могу стать актрисой?

Теперь, к концу моей жизни, я не выношу актеров «игральщиков». Не выношу органически, до физического отвращения — меня тошнит от партнера, «играющего роль», а не живущего тем, что ему надлежит делать в силу обстоятельств. Сейчас мучаюсь от партнера, который «представляет» всегда одинаково, как запись на пластинке. Если актер не импровизирует — ремесло, мерзкое ремесло!



В городе, где я родилась, было множество меломанов. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина. У рояля стояла большая лира из цветов. Скрябин, выйдя, улыбнулся цветам. Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть. И тогда я услышала и увидела перед собой гения.

Наверное, его концерт втянул, втолкнул мою душу в музыку. И стала она страстью моей долгой жизни.



Несчастной я стала в шесть лет. Гувернантка повела в приезжий «зверинец». В маленькой комнате в клетке сидела худая лисица с человеческими глазами. Рядом на столе стояло корыто, в нем плавали два крошечных дельфина. Вошли пьяные, шумные оборванцы и стали тыкать в дельфиний глаз, из которого брызнула кровь.

Сейчас мне 76 лет. Все 70 лет я этим мучаюсь.

72 год, лето



Говорят, любовь приходит с молоком матери. У меня любовь пришла со «слезами матери».

На даче под Таганрогом, утро, очень жарко, трещат цикады, душно пахнут цветы в палисаднике, я уложила кукол спать и прыгаю через веревочку. Я счастлива, не надо готовить уроки, не надо играть гаммы — я обрезала палец. К дому подъехала двуколка, из города приехал приказчик, привез почту, привез много свертков, много вкусности. Я счастливая, я очень счастлива.

«Почему?» — вскрикнула мама. Я бегу в дом, через спущенные жалюзи в спальне полоска света, она блестит золотом, мама уронила голову на ручку кресла, она плачет — я мучительно крепко люблю мать, я спрашиваю, почему она плачет...

Я пугаюсь и тоже плачу.

На коленях матери газета: «...вчера в Баденвейлере скончался А. П. Чехов». В газете — фотография человека с добрым лицом. Бегу искать книгу А. П. Чехова. Нахожу, начинаю читать. Мне попала «Скучная история». Я схватила книгу, побежала в сад, прочитала всю. Закрывает книжку. И на этом кончилось мое детство.

Я поняла все об одиночестве человека.

Это отравило мое детство.

...Мама знала многих, с кем он был знаком, у кого бывал. Я бегала к домику, где он родился, и читала там книги, сидя в саду.



Прошло несколько лет, и я опять услышала страшный крик матери, она кричала: «Как же

теперь жить? Его уже нет. Все кончилось, все ушло, ушла совесть...»

Она убивалась, слегла, долго болела. Любовь к Толстому во мне и моя, и моей матери. Любовь и мучительная жалость и к нему, и к С. А. Только ее жаль иначе как-то. К ней нет ненависти. А вот к Н. Н. Пушкиной... ненавижу ее люто, неистово.

Загадка для меня, как мог ОН полюбить так дуру набитую, куколку, пустяк...



Учительница подарила медальон, на нем было написано: «Лень — мать всех пороков».

С гордостью носила медальон.



В театре в нашем городке гастролировали и прославленные артисты. И теперь еще я слышу голос и вижу глаза Павла Самойлова в «Привидениях» Ибсена: «Мама, дай мне солнца...» Помню, я рыдала...

Театр был небольшой, любовно построенный с помощью меценатов города. Первое впечатление от оперы было страшным. Я холодела от ужаса, когда кого-нибудь убивали и при этом пели. Я громко кричала и требовала, чтобы меня увезли в оперу, где не поют. Кажется, напугавшее меня зрелище называлось «Аскольдова могила». А когда убиенные выходили раскланиваться и при этом улыбались, я чувствовала себя обманутой и еще больше возненавидела оперу.



«Петрушка» — потрясение № 1. Каким-то образом среди игрушек оказались персонажи «Петрушки» — городской, цыган, дворник и еще какие-то куклы. Я переиграла все роли, говорила, меняя голос, городской имел неопикуемый успех. Была и ширма, и лесенка, на которую становилась. Сладость славы пережила за ширмой. С достоинством выходила раскланиваться.

Как могло случиться, что в детстве я увидела цветной фильм, возможно, изображали сцену из «Ромео и Джульетты». Мне было 12. По лестнице взбирался на балкон юноша неопикуемо красивый, потом появилась девушка неопикуемо красивая, они поцеловались, от восхищения я плакала, это было потрясение № 2.

...Фильм был в красках (вероятно, раскрашенный вручную, как позднее флаг в «Броненосце «Потемкине». — Д. Ш.). Мне лет 12. Я в экстазе, хорошо помню мое волнение. Схватила копилку в виде большой свиньи, набитую мелкими деньгами (плата за рыбий жир).

Свинью разбиваю. Я в неистовстве — мне надо совершить что-то большое, необычное.

По полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям: «Берите, берите, мне ничего не нужно...»

И сейчас мне тоже ничего не нужно — мне 80.

Даже духи из Парижа, мне их прислали — подарки друзей. Теперь перебираю в уме, кому бы их подарить...

Экстазов давно не испытываю.

Жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему.



Много я получала приглашений на свидания. Первое, в ранней молодости, было неудачным. Гимназист поразил меня фуражкой, где над козырьком был великолепный герб гимназии, а тулья по бокам была опущена и лежала на ушах. Это великолепие сводило меня с ума.

Придя на свидание, я застала на указанном месте девочку, которая попросила меня удалиться, так как я уселась на скамью, где у нее свидание. Вскоре появился и герой, несколько не смутившийся при виде нас обеих. Герой сел между нами и стал насвистывать. А соперница требовала, чтобы я немедленно удалилась. На что я резонно отвечала: «На этом месте мне назначено свидание, и я никуда не уйду».

Соперница заявила, что не сдвинется с места. Я сделала такое же заявление. Каждая из нас долго отстаивала свои права. Потом герой и соперница пошептались. После чего соперница подняла с земли несколько увесистых камней и стала в меня их кидать. Я заплакала и покинула поле боя...

О моем первом свидании я рассказала Маршаку, он смеялся: ему понравилось то, что, вернувшись все-таки на поле боя, я сказала: «Вот увидите, вас накажет Бог!» И ушла, полная достоинства.

«БОЖЕ МОЙ, КАК Я СТАРА — Я ЕЩЕ ПОМНЮ ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ...»

Хорошо бы иметь карандаш — хороший, может быть, тогда бы стала записывать все, что вспоминается теперь под конец.



В театральную школу принята не была — по неспособности.

Восхитительная Гельцер (в свите ее поклонниц я, конечно, состояла) устроила меня на выходные роли в летний малаховский театр, где ее ближайшая приятельница — Нелидова — вместе с Маршевой — обе прелестные актрисы — держали антрепризу.

Представляя меня антрепризе театра, Екатерина Васильевна сказала: «Знакомьтесь, это моя закадычная подруга Фанни из перефилии».

Это был дачный театр, в подмосковном поселке Малаховка в 25 километрах от центра Москвы, не доезжая теперешнего аэропорта Быково — пыльные, пахнущие сосной тропинки, зеленые палисадники, за которыми теснятся деревянные и кирпичные дачи. Этот театр в

старом парке существует и сейчас. «Памятник культуры Серебряного века» — начертано на черной мемориальной доске. Тогда, в 1915 году, на его сцене шли пьесы лучших драматургов того времени, ставили спектакли известные режиссеры. На премьеру сюда поездом съезжалась театральная московская публика — несколько вагонов тянул паровичок «кукушка». Многие приезжали в нарядных экипажах.



Гельцер была чудо, она была гений. Она так любила живопись, так понимала ее. Ездил в Париж, покупала русские картины. Меня привела к себе: «Кто здесь в толпе (у подъезда театра) самый замерзший? Вот эта девочка самая замерзшая...»

...Так и не написала о великолепной и неповторимой Гельцер. Она мне говорила: «Вы — моя закадычная подруга». По ночам будила телефонным звонком, спрашивала, «сколько лет Евгению Онегину», или просила объяснить, что такое формализм. И при этом она была умна необыкновенно, а все вопросы в ночное время и многое из того, что она изрекала, и что заставляло меня смеяться над ее наивностью, и даже чему-то детскому, очевидно, присуще гению.

...Уморительно-смешная была ее манера говорить.

«Я одному господину хочу поставить точки над «і». Я спросила, что это значит? «Ударить по лицу Москвина за Тарасову».

«Книппер — ролистка, она играет роли. Ей опасно доверять».

«Наша компания, это даже не компания, это банда».

«По женской линии у меня фэномэнальная неудача».

«Кто у меня бывает из авиации, из железнодорожников! Я бы, например, с удовольствием влюбилась бы в астронома... Можете ли вы мне сказать, Фанни, что вы были влюблены в звездочета или архитектора, который создал Василия Блаженного?.. Какая вы фэномэнально молодая, как вам фэномэнально везет!»

«Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга».

Гельцер неповторима и в жизни, и на сцене. Я обожала ее. Видела все, что она танцевала. Такого темперамента не было ни у одной другой балерины. Гельцер — чудо!

...Детишки ее — племяши Федя и Володя — два мальчика в матросских костюмах и больших круглых шляпах, рыженькие, степенные и озорные — дети Москвина и ее сестры, жены Ивана Михайловича. Екатерина Васильевна закармливала их сладостями и читала наставления, повторяя: «Вы меня немножко понимаете?» Дети ничего не понимали, но шаркали ножкой.

...Рылась в своем старом бюваре, нашла свои короткие записи о том, что говорила мне моя чудо Екатерина Гельцер... Помню, сообщила, что ей безумно нравится один господин и что он «древнеримский еврей». Слушая ее, я хохотала, она не обижалась. Была она ко мне доброй, очень ласковой. Трагически одинокая, она относилась

ко мне с нежностью матери. Любила вспоминать: «Моя первая-первая периферия — Калуга... Знаете, я мечтаю сыграть немую трагическую роль. Представьте себе: вы моя мать, у вас две дочери, одна немая, поэтому ей все доверяют, но она жестами и мимикой выдает врагов. Вы поняли меня, и мы обе танцуем Победу!» Я говорю: «Екатерина Васильевна, я не умею танцевать». «Тогда я буду танцевать Победу, а вы будете рядом бегать!..»



В те далекие времена в летнем театре Малаховки гастролировали великая Ольга Осиповна Садовская, Петипа (его отец — Мариус Петипа), Радин и еще много неповторимых. Среди них был и Певцов.

Помню хорошо прелестную актрису необыкновенного очарования, молоденькую Елену Митрофановну Шатрову.

Помню летний солнечный день, садовую скамейку подле театра, на которой дремала старушка. Помню, кто-то, здороваясь с нею, сказал: «Здравствуйте, наша дорогая Ольга Осиповна». Тогда я поняла, что сижу рядом с Садовской. Вскочила как ошпаренная. А Садовская спросила: «Что это с вами? Почему вы прыгаете?» Я, заикаясь, что со мной бывает при сильном волнении, сказала, что прыгаю от счастья, от того, что сидела рядом с Садовской, а сейчас побегу хвастать подругам. О. О. засмеялась, сказала: «Успеете еще, сидите смирно и больше не прыгайте».

Я заявила, что сидеть рядом с ней не могу, а вот постоять прошу разрешения!

«Смешная какая барышня. Чем вы занимаетесь?» — взяла меня за руку и посадила рядом. «О. О., дайте мне опомниться от того, что сижу рядом с Вами, а потом скажу, что хочу быть актрисой, а сейчас в этом театре на выходах...»

А она все смеялась. Потом спросила, где я училась. Я созналась, что в театральную школу меня не приняли, потому что я неталантливая и некрасивая.

По сей день горжусь тем, что насмешила Садовскую.

...К сожалению, у меня не сохранилось за давностью лет ни каких-то документов, ни афиш, ни программ, ни фотографий. Сохранились лишь воспоминания, такие праздничные, такие радостные, вызванные тем, что в малаховском театре удалось увидеть великих актеров того времени... До сих пор, по прошествии 60 лет, вспоминаю Садовскую... Она осталась у меня в памяти как явление неповторимое, помню ее интонации, голос, помню ее движения.

Недавно прочитала в газете о том, что пароходу было присвоено имя Садовской. Взволновалась и обрадовалась тому, что великий актер не умирает дважды.



1915 год, дачный театр в Малаховке, где играли великие артисты Ольга Садовская, Илларион Певцов, на спектакле которого я упала в

обморок. Меня устроила в театр балерина Екатерина Васильевна Гельцер. Она вводила меня в литературный салон. Помню Осипа Мандельштама, он вошел очень элегантный, в котелке и, как гимназист, кушал пирожные, целую тарелку. Поклонился и ушел, предоставив возможность расплатиться за него Екатерине Васильевне Гельцер, с которой не был знаком. Мы хохотали после его ухода. Уходил торжественно подняв голову и задрал маленький нос. Все это было неожиданно, подсел он к нашему столику без приглашения. Это было очень смешно. Я тогда же подумала, что он гениальная личность. Когда же я узнала его стихи — поняла, что не ошиблась.

Помню Веру Холодную. Она была сказочно красивая, и глаза невероятного бирюзового цвета...

В одном обществе, куда Гельцер взяла меня с собой, мне выпало счастье — я познакомилась с Мариной Цвстаевой. Марина, челка. Марина звала меня своим парикмахером — я ее подстригала.



...Я помню еще: шиншилла — мех редкостной мягкости — нежно-серый, помню, как Шаляпин вышел петь в опере Серова «Вражья сила», долго смотрел в зрительный зал, а потом ушел к себе в гримерную, не мог забыть вечера, когда встал на колени перед царской ложей, великий Шаляпин — Бог Шаляпин не вынес травли. Я помню, как вбежал на сцену администратор со словами: «По внезапной болезни Федо-

ра Ивановича спектакль не состоится, деньги за купленные билеты можно получить тогда-то». Я сидела в первом ряду в театре Зимина, где гастролировал Шаляпин, я видела движение его губ «не могу» — Шаляпин не мог петь от волнения, подавленности, смятения.



...Гельцер ввела меня в круг ее друзей, брала с собой на спектакли во МХАТ, откуда было принято ездить к Балиеву в «Летучую мышь». Возила меня в Стельну и к Яру, где мы наслаждались пением настоящих цыган.

Гельцер показала мне Москву тех лет.

Это были «Мои университеты».



Первым учителем был Художественный театр. В те годы Первой мировой войны жила я в Москве и смотрела по нескольку раз все спектакли, шедшие в то время, Станиславского в Крутицком вижу, и буду видеть перед собой до конца дней. Это было непостижимое что-то. Вижу его руки, спину, вижу глаза чудные — это преследует меня несколько десятилетий. Не забыть Массалитинова, Леонидова, Качалова, не забыть ничего... Впервые в Художественном театре смотрю «Вишневый сад». Станиславский — Гаев, Лопухин — Массалитинов, Аня — молоденькая прелестная Жданова, Книппер — Раневская, Шарлотта?.. Фирс?.. Очнулась, когда капельдинер сказал: «Барышня, пора уходить!» Я ответила: «Куда же я теперь пойду?»



В далекие годы моей молодости я работала актрисой драматического театра в Крыму. Помню, кто-то из моих коллег советовал послушать певицу, концерт которой должен был состояться в ближайшие дни. Мой коллега говорил о певице восторженно, и это заставило меня срочно запасть билетом... Фамилии ее я еще не знала. И по сей день помню волнение, охватившее меня, когда я впервые услышала исполнение песен Ирмой Петровной Яунзем. Это поистине было явлением неповторимым. Много за мою долгую жизнь я видела и испытала прекрасного, и одним из этих прекрасных чувств, вызванных великим исполнением, была И. П. Я. Как я благодарна ей за эту радость.



...Просят писать о Полевицкой.

Я видела больших прекрасных актрис, но Полевицкая была чудо неповторимое. Сила ее таланта была такова, что и теперь, через десятки лет, вспоминая ее, испытываю чувство восторга и величайшей нежности и благодарности ей за счастье встречи с ней на сцене. Мне повезло и в том, что я была знакома с ней, и слушала все, о чем она говорила, замороженная ее вдохновением, умом, ее изяществом...



Очень хорошо помню, каким потрясением для меня была встреча с великим трагическим актером Певцовым. В качестве статистки мне уда-

лось устроиться в малаховский театр на бессловесные роли.

Помню Певцова в пьесе «Вера Мирцева». В этой пьесе героиня застрелила изменившего ей возлюбленного, а подозрение пало на друга убитого, которого играл Певцов. И сейчас, по прошествии более шестидесяти лет, я вижу лицо Певцова, залитое слезами, слышу срывающийся голос, которым он умоляет снять с него подозрение в убийстве, потому что убитый был ему добрым и единственным другом. И вот даже сейчас, говоря об этом, я испытываю волнение, потому что Певцов не играл, он не умел играть. Он жил, терзался муками утраты дорогого ему человека. Гейне сказал, что актер умирает дважды. Нет. Это не совсем верно, если прошли десятилетия, а Певцов стоит у меня перед глазами и живет в сердце моем...

...Он был моим первым учителем, любил нас, молодых. После спектакля обычно звал нас с собой гулять, возвращались мы на рассвете...

...Он учил нас любить природу. Он внушал нам, что настоящий артист обязан быть образованным человеком. Должен знать лучшие книги мировой литературы, живопись, музыку.

Я в точности помню его слова, обращенные к молодым актерам: «Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь».

Он убивал в нас все обывательское, мещанское. Он повторял: «Не обзаводитесь вещами, бегайте от вещей». Ненавидел стяжательство,

жадность, пошлость. Его заветами я прожила долгую жизнь. И по сей день помню многое из того, что он нам говорил.

Милый, дорогой Илларион Николаевич Певцов... Я любила и люблю вас. И приходят на ум чеховские слова: «Какое наслаждение — уважать людей».

Было в Певцове что-то пленительно-детское. Нисколько не актерски, а совсем по-детски взяв меня за руку и отведя в сторону от актеров, сидевших на скамейке в парке Малаховки, И. Н. стал мне говорить о том, как его хвалил врач-психиатр за верное решение образа... У актера меньшего масштаба это выглядело бы иначе. У великого трагического артиста Певцова похвала врача была самой дорогой для него оценкой его работы. Через шесть десятилетий я вспоминаю его и испытываю волнение, близкое тому, которое испытала, когда видела его в этой роли. А ведь он уже был знаменит в те годы, а я ничего собой не представляла, была статисткой, влюбленной в его творчество.

...Мне посчастливилось видеть его и в пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». И в этой роли я буду видеть его до конца моих дней.

Помню, когда я узнала, что должна буду участвовать в этом спектакле, я, очень волнуясь и робея, подошла к нему и попросила дать мне совет, что делать на сцене, если у меня в роли нет ни одного слова. «А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать, тревожить».

И я любила его так крепко, как он попросил.

И когда спектакль был кончен, я громко плакала, мучаясь его судьбой, и никакие утешения моих подружек не могли меня успокоить. Тогда побежали к Певцову за советом. Добрый Певцов пришел в гримерную и спросил меня:

— Что с тобой?

— Я так любила, я так любила вас весь вечер, — выдохнула я рыдая...

— Милые барышни, вспомните меня потом — она будет настоящей актрисой...



Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбатова Прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея...» После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стена, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены.



...Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила в чернилах. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии «Глухонемой» (партнером моим был актер Ечменев), он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица

на мне непрестанно линияла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьершей театра, сидевшей в ложе, бывшим моим педагогом, случилось нечто вроде истерики... (это была П. Л. Вульф). И это был второй повод для меня уйти со сцены.



Керчь. Один сезон. Старик ходил во всякую погоду в калошах, перевязав их веревкой, я спросила, почему он в калошах в такую жару. Старик объяснил, что как вегетарианец он не носит кожи. Через несколько дней я увидела его в тех же калошах, пожирающим ливерную колбасу. Это был нищий, умевший читать и потому ушедший на сцену. Играл он амплуа «благородных отцов».



Я просила Вульф помочь мне устроиться в театр на выходные роли. Она предложила мне взять отрывок из пьесы «Роман», которая в то время нравилась публике и премьершам всех театров; я видела в этом спектакле великолепную Марию Федоровну Андрееву, игравшую героиню пьесы. Павла Леонтьевна сказала, что ее не захватил сюжет пьесы и она отказалась в ней играть: роль в пьесе была очень выигрышной, но не во вкусе актрисы чеховского или ибсеновского репертуара. Я испугалась трудности роли итальянской певицы Маргариты Кавалини, говорившей с итальянским акцентом, а после того, как уви-

дела в этой роли Андрееву, стала отказываться, но Вульф настояла на том, чтобы я выбрала одну из сцен пьесы и явилась к ней, чтобы показать мою работу.

Со страхом сыграла ей монолог из роли, стараясь копировать Андрееву. Послушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала: «Мне думается, вы способная, я буду с вами заниматься». Она работала со мной над этой ролью и устроила меня в театр, где я дебютировала в этой роли. С тех пор я стала ее ученицей.



...Крым. Сезон в крымском городском театре. Голод. «Военный коммунизм». Гражданская война. Власти менялись буквально поминутно. Было много такого страшного, чего нельзя забыть до смертного часа и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит, не сказать ничего. Поэтому и порвала книгу.



«Дама в Москве: по-французски из далекого детства запомнила 10 фраз и произносила их грассируя, в нос и с шиком!»

«Дама в Таганроге: «Меня обидел Габриель Д'Аннунцио — совершенно неправильно описывает поцелуй».

«Старуха еврейка ласкает маленькую внучку: «Красавица, святая угодница, крупчатка первый сорт!»



...При мне били шулера, человека в сером котелке, которого называли Митька. Шулер смиренно сидел — толстый, огромный, не сопротивлялся, когда его били по шее бронзовым подсвечником. Карты при свечах, игра в девятку.



...Почему вспомнилось?

В Крыму, когда менялись власти почти ежедневно, с мешком на плечах появился знакомый член Государственной думы Радаков. Сказал, что продал имение и что деньги в мешке, но они уже не годны ни на что, кроме как на растопку.

...«Эх, яблочко, куда ты котишься, на «Алмаз» (пароход) попадешь — не воротишься! Эх, яблочко, вода кольцами, будешь рыбку кормить...» в двух вариантах — «добровольцами» или же «комсомольцами», часто менялись власти.

«Откройте именем закона!» — «Именем закона ворота не открываются», — ответил хозяин; тогда ворота били прикладами.

«40 тысяч» — так мальчишки дразнили немолдую невесту с капиталом в 40 тысяч, ищущую жениха, — за ней бежали дети с криком: «40 тысяч!»

Дама на улице, пожилая, красивая, кричала в голос: «Господа, поставьте мне клистир!» В Крыму в те годы был ад.

Шла в театр, стараясь не наступить на умерших от голода.

Жили в монастырской келье, сам монастырь опустел, вымер — от тифа, от голода, от холеры.

Сейчас нет в живых никого, с кем тогда в Крыму мучились голодом, холодом, при коп-тилке.

...Почему-то вспоминается теперь, по прошествии более шестидесяти лет, спектакль — утренник для детей. Название пьесы забыла. Помню только, что героем пьесы был сам Колумб, которого изображал председатель месткома актер Васяткин. Я же изображала девицу, которую похищали пираты. В то время как они тащили меня на руках, я зацепилась за гвоздь на декорации, изображавшей морские волны. На этом гвозде повис мой парик с длинными косами.

Косы поплыли по волнам. Я начала неистово хохотать, а мои похитители, увидев повисший на гвозде парик, уронили меня на пол. Несмотря на боль от ушиба, я продолжала хохотать. А потом услышала гневный голос Колумба — председателя месткома: «Штраф захотели, мерзавцы?» Похитители, испугавшись штрафа, свирепо уволокли меня за кулисы, где я горько плакала, испытав чувство стыда перед зрителями. Помню, что на доске приказов и объявлений висел выговор мне, с предупреждением.

Такое не забывается, как и многие-многие другие неудачи моей долгой творческой жизни.



Приглашение на свидание: «Артистке в зеленой кофточке», указание места свидания и угроза: «Попробуй только не прийти». Подпись. Печать. Сожалею, что не сохранила документа, — не так много я получала приглашений на свидание.



Совсем молодой играла Сашу в «Живом труппе», а потом Машу, но точно какую играла раньше — не помню. Смущало меня то, что Саша говорит Феде Протасову: «Я восхищаюсь перед тобой». Это «перед тобой» мне даже было трудно произносить, почему «перед», а не просто «тобой» — только теперь, через 50 лет, вспоминая это, поняла, что Толстой не мог сказать иначе от лица светской барышни и что «я восхищаюсь тобой» было бы тривиально от лица Толстого.

Федю играл актер грубой души, неумный, злой человек, вскорости он попал в Малый театр, и там он был своим, мы же в нашей провинции звали его Малюта Скуратов — Скуратов была его фамилия или псевдоним. Он всегда на кого-то сердился и кричал «бить палкой по голове», а после того, как сыграл Павла Первого, уже кричал «шпицрутенов ему». Это относилось к парикмахеру, портному, бутафору и прочим нашим товарищам, техническому персоналу.



В самые суровые, голодные годы «военного коммунизма» в числе нескольких других актеров меня пригласила слушать пьесу к себе домой какая-то дама. Шатаясь от голода, в надежде на возможность выпить сладкого чая в гостях, я притащилась слушать пьесу.

Странно было видеть в ту пору толстенную, кругленькую женщину, которая объявила, что после чтения пьесы будет чай с пирогом.

Пьеса оказалась в пяти актах. В ней говорилось о Христе, который ребенком гулял в Гефсиманском саду.

В комнате пахло печеным хлебом, это сводило с ума. Я люто ненавидела авторшу, которая очень подробно, с длинными ремарками описывала времяпрепровождение младенца Христа.

Толстая авторша во время чтения рыдала и пила валерьянку. А мы все, не дожидаясь конца чтения, просили сделать перерыв в надежде, что в перерыве угостят пирогом.

Не дослушав пьесу, мы рванули туда, где пахло печеным хлебом. Дама продолжала рыдать и сморкаться во время чаепития.

Впоследствии это дало мне повод сыграть рыдающую сочинительницу в инсценировке рассказа Чехова «Драма».

Пирог оказался с морковью. Это самая неподходящая начинка для пирога.

Было обидно.

Хотелось плакать.

...Не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения. Боже упаси. Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах с побледневшими лицами декламировали горьковского «Буревестника», и любила повторять слова нашего земляка Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми. И тогда мы думали, что эта красивая жизнь наступит уже завтра...

Господи, мать рыдает, я рыдаю, мучительно больно, страшно, но своего решения я изменить

не могла, и я тогда была страшно самолюбива и упряма. Неспроста спустя много лет Завадский сказал однажды, что я упряма, как телеграфный столб. Но тогда мое решение оказалось правильным. И вот моя самостоятельная жизнь началась... Я осталась одна и, как вскоре выяснилось, без средств к существованию.

(Ардаматский В. Разговор с Раневской // Театр. 1980. № 6)



Благодарю судьбу за Анну Ахматову. За Макса Волошина, который не дал мне умереть с голоду. За дивного старика — композитора Спендиарова. Старик этот был такой восхитительный, трогательный.

Мы повстречались в Феодосии, где я работала в театре. Шла Гражданская война. Было голодно. До сих пор помню запах рыбы, которую жарила на сковородке хозяйка театра, прямо за кулисами, во время спектакля. «Как вам не стыдно беспокоить человека на смертном одре?!» — стонал директор, когда к нему приходили актеры за жалованьем.

И вот Спендиаров приехал в Крым. Ему дали мой адрес. Он постучал в дверь. Я не знала его в лицо, сказал: «Я Спендиаров. Я приехал устраивать концерт — семья голодает». «Чем я могу помочь?»

А уже подходили белые. И по городу мелькали листовки черносотенцев: «Бей жидов, спасай Россию».

Был концерт. Сидели три человека. Бесстрашные. Павла Леонтьевна Вульф, моя учительница. Ее приятельница. И я. Он пришел после концерта. Сияющий! Сказал: «Я так счастлив! Какая была первая скрипка, как он играл хорошо!»

По молодости и глупости я сказала: «Но ведь сборов нет». Он: «У меня еще есть золотые часы с цепочкой. Помогите продать, чтобы заплатить музыкантам».

Опять побежала к комиссару. Тот озабочен. Я уже видела, что он укладывается. «Сбора не было, товарищ комиссар. Старичок уезжает ни с чем». — «Дать пуд муки, пуд крупы».

...Я написала обо всем этом дочери Спендиарова, когда она собирала материал для книги об отце в серию «Жизнь замечательных людей». Она ответила: «Все, что вы достали папе, у него в поезде украли».



Вспомнилась встреча с Максимилианом Волошиным, о котором я читала в газете, где говорилось, что прошло сто лет со дня его рождения.

Было это в Крыму, в голодные трудные годы времен Гражданской войны и «военного коммунизма».

Мне везло на людей в долгой моей жизни редкостно добрых, редкостно талантливых. Иных из них уже нет со мной. Сейчас моя жизнь — воспоминания об ушедших.

Все эти дни вспоминала Макса Волошина с его чудесной детской и какой-то извиняющейся

улыбкой. Сколько в этом человеке было неповторимой прелести!

В те годы я уже была актрисой, жила в семье приютившей меня учительницы моей и друга, прекрасной актрисы и человека Павлы Леонтьевны Вульф. Я не уверена в том, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Макс Волошин.

С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбешки, называемые камсой. Был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом. Была и бутылочка с касторовым маслом, с трудом раздобытая им в аптеке. Рыбешек жарили в касторке. Это издавало такой страшный запах, что я, теряя сознание от голода, все же бежала от этих касторовых рыбок в соседний двор. Помню, как он огорчался этим. И искал новые возможности меня покормить.

...С того времени прошло более полувека.

Не могу не думать о Волошине, когда он был привлечен к работе в художественном совете симферопольского театра. Он порекомендовал нам пьесу «Изнанка жизни». И вот мы, актеры, голодные и холодные, так как театр в зимние месяцы не отапливался, жили в атмосфере искусства с такой великой радостью, что все трудности отступали.

...18, 19, 20, 21 год — Крым — голод, тиф, холера, власти меняются, террор: играли в Симферополе, Евпатории, Севастополе, зимой театр не отапливался, по дороге в театр на улице

опухшие, умирающие, умершие, посреди улицы лошадь убитая, зловоние, а из магазина разграбленного пахнет духами, искали спирт, в разбитые окна видны разбитые бутылки одеколona и флаконы духов, пол залит духами. Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучает голод. В театре митинг, выступает Землячка; видела, как бежали белые, почему-то на возах и пролетках торчали среди тюков граммофон, трубы, женщины кричали, дети кричали, мальчишки юнкера пели: «Ой, ой, ой, мальчишки, ой, ой, ой, бедные, погибло все и навсегда!» Прохожие плакали. Потом опять были красные и опять белые. Покамест не был взят Перекоп.

Бывший дворянский театр, в котором мы работали, был переименован в «Первый советский театр в Крыму».



(О Волошине) Среди худуших, изголодавшихся его толстое тело потрясало граждан, а было у него, видимо, что-то вроде слоновой болезни. Я не встречала человека его знаний, его ума, какой-то нездешней доброты. Улыбка у него была какая-то виноватая, всегда хотелось ему кому-то помочь. В этом полном теле было нежнейшее сердце, добрейшая душа.

Однажды, когда Волошин был у нас, началась стрельба. Оружейная и пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату. Утром он принес нам эти стихи — «Красная пасха».

КРАСНАЯ ПАСХА

Зимою вдоль дорог валялись трупы
Людей и лошадей. И стаи псов
Въедались им в живот и рвали мясо.
Восточный ветер выл в разбитых окнах.
А по ночам стучали пулеметы,
Свистя, как бич, по мясу обнаженных
Закоченелых тел. Весна пришла
Зловещая, голодная, больная.
Из сжатых чресл рождались недоноски
Безрукие, безглазые... Не грязь,
А сукровица поползла по скатам.

Под талым снегом обнажались кости.
Подснежники мерцали точно свечи.
Фиалки пахли гнилью. Ландыш — тленьем.
Стволы дерев, обглоданных конями
Голодными, торчали непристойно,
Как ноги трупов. Листья и трава
Казались красными. А зелень злаков
Была опалена огнем и гноем.
Лицо природы искажалось гневом
И ужасом.
А души вырванных
Насильственно из жизни вились в ветре,
Носились по дорогам в пыльных вихрях,
Безумили живых могильным хмелем
Неизжитых страстей, неутоленной жизни,
Плодили мшенье, панику, заразу...

Зима в тот год была Страстной неделей,
И красный май сплелся с кровавой Пасхой,
Но в ту весну Христос не воскресал.

Симферополь 21 апреля 1921 г.

На исплаканном лице была написана нечеловеческая мука.

Волошин был большим поэтом, чистым, добрым, большим человеком.

...Мы с ним и с Павлой Леонтьевной Вульф и ее семьей падали от голода, Максимилиан Александрович носил нам хлеб.

Забыть такое нельзя, сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя. Вот почему я не хочу писать книгу «о времени и о себе». Ясно вам?



...В первый раз я увидела его в доме какой-то очень странной музыкально-театральной школы. Народу было множество. Все пили чай и ели бутерброды. Маяковский стоял и молча наблюдал странное это сборище. Был в куртке и полосатых брюках. Мне он показался очень красивым. Я стала около него вертеться, старалась попасть ему на глаза. Заметив меня, он попросил дать ему чаю. Взяв стакан, он поблагодарил и отвернулся. Я обиделась, — мне хотелось с ним поговорить, чтобы потом хвастаться этим знакомым. Он уже был в большой моде. Им восхищались и его ругали. (1914 г.)



Первый толчок к тому, чтобы написать себе роль, дал мне Б. Ив. Пясецкий — очень хороший актер, милый, добрейший человек.

...Он попросил меня сыграть в пьесе, которую он ставил, когда я работала в руководимом им театре в Сталинграде, — и тут же уведомил меня,

что роли никакой нет — название пьесы я позабыла, — их было множество, похожих одна на другую. «Но ведь роли-то нет для меня, что же я буду играть?» — «А это не важно, мне надо, чтоб вы играли. Сыграйте, пожалуйста». Ознакомившись с пьесой, я нашла место, куда без ущерба для пьесы я могла вклиниться в подходящую ситуацию. Бывшая барыня, ненавидящая советскую власть, делает на продажу пирожки. Мне показалось возможным приходить к этой барыне подкормиться и, чтобы расположить ее к себе, приносить ей самые свежие новости, вроде такой: «По городу летает аэроплан, в аэроплане сидят большевики и кидают сверху записки, в записках сказано: «Помогите, не знаем, что надо делать». Барыня сияла, зрители хохотали. А моя импровизированная гостя получала в награду пирожок. Когда же барыня вышла из комнаты, я придумала украсть будильник, спрятав его под пальто. Прощаясь с возвратившейся в комнату барыней, я услышала, как во мне неожиданно зазвонил будильник. Я сделала попытку заглушить звон будильника громким рассказом, в котором сообщила еще более интересные новости, я кричала как можно громче, на высоких тонах будильник меня заглушал, продолжал звонить, тогда я вынула его из-за пазухи и положила на то место, откуда его брала, и заплакала, долго плакала, стоя спиной к публике; зрители хлопали, я молча медленно уходила. Мне было очень дорого то, что во время звона будильника, моей растерянности и отчаянья зрители не смеялись. Добряк Пясецкий очень

похвалил меня за выполнение замысла. В дальнейшем я бывала частным соавтором и режиссером многих моих ролей в современных пьесах — так было с «Законом чести», где с согласия Александра Штейна дописала свою роль, так было со «Штурмом» Билль-Белоцерковского и с множеством ролей в кино.



Мне повезло, я знала дорогого моему сердцу Константина Андреевича Тренева. Горжусь тем, что он относился ко мне дружески. В те далекие двадцатые годы он принес первую свою пьесу артистке Павле Леонтьевне Вульф, игравшей в местном театре в Симферополе. Артистке талантливейшей. К. А. смущался и всячески убеждал Павлу Леонтьевну в том, что пьеса его слаба и недостойна ее таланта. Такое необычное поведение меня пленило и очень позабавило. Он еще долго продолжал неодобрительно отзываться о своей пьесе, назвав ее «Грешницей». Дальнейшей судьбы пьесы не помню.

В Москве К. А. читал нам и «Любовь Яровую». Не преувеличу, если назову эту пьесу гениальной. Мне посчастливилось в ней играть роль Дуньки. В Москве мы часто виделись, бывали в его семье, помню прелестных детей — девочку и мальчика — и гостеприимную жену.

В то время я играла в театре Красной Армии, что дало повод К. А. звать меня «Красной героиней». Во МХАТе видела его «Пугачевщину», пьесу потрясающей силы.

В моей долгой жизни не помню, чтобы я относилась к кому-либо из драматургов-современников так нежно и благодарно, как к Треневу.



Игоря Андреевича Савченко я крепко и нежно любила и теперь через много лет с душевной болью думаю о том, что его с нами нет. Эту утрату пережила как личное тяжелое горе. Познакомилась с ним в Баку, где он руководил Театром рабочей молодежи. Я в те годы была актрисой Бакинского рабочего театра.

Спектакли в ТРАМе восхищали ослепительной талантливостью, они были необычны, вне всяких влияний прославленных новаторов. Молодой Савченко был самобытен и неповторим. В Баку мы виделись с ним часто. Все, что он говорил о нашем деле — театре, было всегда ново, значительно и очень умно. Была в нем и та человеческая прелесть, которая влюбляет в себя с первого взгляда.

В Москве он попросил меня сниматься в фильме «Дума про казака Голоту», при этом добавил, что в сценарии роли для меня нет, но он попытается поаа обратить в поаадыю. На это я согласилась, и мы приступили к работе.

Прошло много лет с начала нашей встречи на этой работе, а я по сей день думаю, каким огромным педагогическим даром он обладал, с какой деликатностью и добротой он со мной работал. Видя, что я трушу, не имея опыта сниматься в «говорящей» роли, он умудрился внача-

ле снять меня на пленку так, что я этого не знала и не подозревала, что это возможно. Сделал он это во время репетиций в декорациях.

К моему большому огорчению, это была наша единственная совместная работа, но и эта единственная встреча многому меня научила.

Вспоминаю Игоря Андреевича благоговейно, с невыразимой нежностью. И всегда мне приходят на ум толстовские слова: «Смерти нет, а есть Любовь и память сердца».

Ф. Раневская, нар. арт. СССР¹



Я работала в БРТ (Бакинский рабочий театр — Д. Щ.) в двадцатые годы... Играла много и, кажется, успешно. Театр в Баку любила, как город. Публика была ко мне добра.

«Нарды» — древняя игра на улицах старого города; дикий ветер норд, наклонивший все деревья в одну сторону; многочисленные старожилы-созерцатели на переносных скамеечках, ожидавшие на ветру конфуза проходивших женщин в завернутых нордом нарядах.



...Это были чудесные минуты моей жизни, и я чувствовала, что недаром живу на свете. Никогда не забыть некоторых волнующих моментов нашей жизни и работы в Святогорске. Целые

¹Статья была послана в редакцию одного из журналов. Позднее актриса сделала приписку: «Ответа не получила. Не могу привыкнуть к хамству».

снопы васильков, громадные букеты полевых цветов получали мы, актеры, от нашего чуткого и неискушенного зрителя.



Я была тогда молодой провинциальной актрисой, которой судьба подарила Москву и пору буйного расцвета театров. В то время я перенесла помешательство на театрах Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Вахтангова... Из всех театров на особом месте у меня стоял МХАТ, его спектакли смотрела по нескольку раз. Однако причиной тому стало одно непредвиденное обстоятельство: я влюбилась в Качалова, влюбилась на тяжкую муку себе, ибо в него влюблены были все, и не только женщины.



Впервые увидела Бирман в МХТ (Академическим он стал позднее. — *Д. Ш.*) в спектакле «Хозяйка гостиницы». Было это году в 15—16-м, не помню точно.

Все это я помню ярко до такой степени, точно я видела ее вчера: божественного Станиславского и поразившую меня актрису, игравшую в этом спектакле.

Самое сильное впечатление во мне оставили два актера: великий Станиславский и наиталантливейшая Бирман. Впоследствии мне довелось с ней играть в театре Моссовета в спектакле «Дядюшкин сон» по Достоевскому. И тогда мне показалось, по тому неистовству, с каким она творила свою роль, что-то нездоровое в ее психике — и все равно это было необыкновенно талантливо.



Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок, к тому же я никогда не расшибалась, стараясь падать грациозно.

С годами это увлечение прошло.

Но один из обмороков принес мне счастье, большое и долгое. В тот день я шла по Столешникову переулку, разглядывая витрины роскошных магазинов, и рядом с собой услышала голос человека, в которого была влюблена до одурения. Собирала его фотографии, писала ему письма, никогда их не отправляя. Поджидала у ворот его дома...

Услышав его голос, упала в обморок. Неудачно. Сильно расшиблась. Меня приволскли в кондитерскую, рядом. Она и теперь существует на том же месте. А тогда принадлежала французенке с французом. Сердобольные супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я сразу пришла в себя и тут же снова упала в обморок, так как этот голос прозвучал вновь, справляясь, не очень ли я расшиблась.

Прошло несколько лет. Я уже стала начинающей актрисой, работала в провинции и по окончании сезона приезжала в Москву. Видела длинные очереди за билетами в Художественный театр. Расхрабрилась и написала письмо: «Пишет Вам та, которая в Столешниковом переулке однажды, услышав Ваш голос, упала в обморок. Я уже начинающая актриса. Приехала в Москву с единственной целью — попасть в театр, когда

Вы будете играть. Другой цели в жизни у меня теперь нет. И не будет».

Письмо помню наизусть. Сочиняла его несколько дней и ночей. Ответ пришел очень скоро. «Дорогая Фаина, пожалуйста, обратитесь к администратору, у которого на Ваше имя 2 билета. Ваш В. Качалов».

С этого вечера и до конца жизни изумительного актера и неповторимой прелести человека длилась наша дружба. Которой очень горжусь.



...Бывала у В. И. (В. И. Качалов. — Д. Ш.) постоянно, вначале робела, волновалась, не зная, как с ним говорить. Вскоре он приручил меня и даже просил говорить ему «ты» и называть его Васей. Но я на это не пошла.

Он служил мне примером в своем благородстве. Я присутствовала однажды при том, как В. И., вернувшись из театра домой, на вопрос Н. Литовцевой (жена В. И. Качалова, актриса МХАТа. — Д. Ш.), как прошла репетиция «Трех сестер», где он должен был играть Вершинина, ответил: «Немирович снял меня с роли и передал ее Болдуману. Владимир Иванович поступил правильно. Болдуман много меня моложе, в него можно влюбиться, а в меня уже нельзя». Он говорил, что нисколько не обижен, что он приветствует это верное решение режиссера. И все повторял, что Немирович умно поступил по отношению к спектаклю, к пьесе, к Чехову.

А я представила себе, сколько злобы, ненависти встретило бы подобное решение у другого

актера, даже большого масштаба. Писались бы заявления об уходе из театра, жалобы по инстанциям. Я была свидетельницей подобного.

Сейчас смотрела Качалова в кино. Барон. Это чудо как хорошо. Это совершенство! Я шла домой и думала: ...что сделала я за 30 лет? Что сделала такого, за что мне не было бы стыдно перед своей совестью? Ничего. У меня был талант, и ум, и сердце. Где все это?



...В. И. спросил меня после одного вечера, где он читал и Маяковского, — вопроса точно не помню, а ответ мой до сих пор меня мучает: «Вы обомхатили Маяковского».

«Как это — обомхатил? Объясни».

Но я не умела объяснить. Я много раз слышала Маяковского. А чтение Качалова было будничным.

Василий Иванович сказал, что мое замечание его очень огорчило... Сказал с той деликатностью, которую за долгую мою жизнь я видела только у Качалова. Потом весь вечер говорил о Маяковском с истинной любовью...



Какая прелесть был Качалов, от него тоже свет был. Он был добрый ко мне, он любил смешное, я собирала смешное и несла ему домой, наслаждаясь тем, что повеселила его. В последние годы он был испуган, страшился смерти, не мог примириться с неизбежным. Часто повто-

рял: неужели не буду ходить по Тверскому бульвару, — я видела, как он мучился этой мыслью, слишком баловала его жизнь, чтобы с ней расстаться навсегда.

...Видела его нечеловеческие муки, когда сын его Вадим где-то пропал. Ничего о нем не зная, куда-то все стремился попасть, чтобы узнать о сыне. Видела его в горе. Видела, как он страдал, когда схватили Мейерхольда, и все просил меня узнать, жив ли он?



У меня теперь «жизнь в искусстве» — когда читаю жизнь и творчество Станиславского в четырех томах. Театр? Его нет — есть пародия на театр.



Станиславский был в нашем деле такое же чудо, как Пушкин в поэзии. После его «Вишневого сада» я очнулась на галерке. Театр уж пуст. Билетер сказал: «Барышня, вам пора идти». «Куда же я пойду?» Он меня понял.

Его Астров... Вершинин. Буду умирать, и в каждом глазу у меня будет Станиславский — Крутицкий в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Я его вижу перед глазами: руки, спину, глаза идиота... А в «Хозяйке гостиницы» он играл женоненавистника, кавалера Риппафрата. Как он там ел в гостинице рябчика! Сей кавалер был преисполнен отвращения к женщине. И постепенно, без слов влюблялся!

Однажды в Леонтьевском переулке я увидела пролетку, в которой проезжал Константин Сергеевич. Бросилась за ней, посылая воздушные поцелуи и крича ему: «Мальчик! Мальчик мой дорогой!» Станиславский привстал, расхохотался (я горжусь тем, что его рассмешила) и показал рукой, чтобы я ушла...

Это была первая встреча и последняя.



В Железноводске по утрам бродила с кружкой с минеральной водой. Болела печень. В те времена я еще лечилась. Обычно, проходя мимо газетного киоска, покупала газету. В ней оказалась траурная рамка с извещением о кончине Станиславского. Я заплакала, но это был не плач, а что-то похожее на собачий лай: ав, ав, ав... И так дошла до санатория, не переставая лаять. Кинулась на постель и начала нормально плакать.

Не забуду его до смертного часа. И сейчас вижу перед собой его Гаева, Крутицкого, Астрова.



...Теперь читаю «Летопись жизни и творчества» К. С. Станиславского и опять плачу от благодарности судьбе, которая подарила мне счастье видеть его на сцене.

Вспомнила, как Алла Константиновна Тарасова спросила: читала ли я «Летопись»? Я сказала, что еще не читала. Она буквально закричала: «Как вам не стыдно, вы же интеллигентная!» Это была наша с ней последняя встреча.



Вижу себя со стороны, и мне жаль себя. Читаю Станиславского. Сектант. Чудо-человек. Какое счастье то, что я видела его на сцене, он перед глазами у меня всегда. Он — бог мой.

Я счастлива, что жила в «эпоху Станиславского», ушедшую вместе с ним... Сейчас театр — пародия на театр. Самое главное для меня ансамбль, а его след простыл. Мне с партнерами мука мученическая, а бросить не в силах — проклятуший театр.



Режиссеры меня не любили, я платила им взаимностью. Исключением был Таиров, поверивший мне.



Мне посчастливилось быть на спектакле «Сакунтала», которым открывался Камерный театр. Это было более полувека назад. Роль Сакунталы исполняла Алиса Коонен.

С тех пор, приезжая в Москву (я в это время была провинциальной актрисой), неизменно преданная Камерному театру, я пересмотрела почти все его спектакли. Все это было так празднично, необычно, все восхищало, и мне захотелось работать с таким мастером, в таком особом театре. Я отважилась об этом написать Александру Яковлевичу (Таирову), впрочем не надеясь на успех моей просьбы.

Он ответил мне любезным письмом, сожалел о том, что в предстоящем репертуаре для меня

нет работы. А через некоторое время он предложил мне дебют в пьесе «Патетическая соната». В спектакле должна была играть А. Г. Коонен. Это налагало особую ответственность и очень меня пугало.

Дебют в Москве! Как это радостно и как страшно! Я боялась взыскательных столичных зрителей, боялась того, что роль мне может не удалась.

В то время Камерный театр только что возвратился из триумфальной поездки по городам Европы и Латинской Америки, и я ощущала себя убогой провинциалкой среди моих новых товарищей. Все актрисы и актеры были по тому времени необыкновенно элегантны, и это очень контрастировало с моим перелицованным платьем. Сознаюсь, что по этому ничтожному поводу я очень огорчилась... Когда входила Алиса Коонен, игравшая в этом спектакле, я теряла дар речи. Мои товарищи-актеры были очень доброжелательны, и все же на репетициях, видя их в зале, я робела, ощущая себя громоздкой, неуклюжей. А когда появились конструкции и мне пришлось репетировать на большой высоте, почти у колосников, я чуть не потеряла дар речи, так как страдаю боязнью пространства. Я была растеряна, подавлена необходимостью весь спектакль «быть на высоте». Репетировала плохо, не верила себе, от волнения заикалась. Мне думалось, что партнеры мои недоумевают: к чему было Таирову приглашать из провинции такую беспомощную, бесталанную актрису?

Александр Яковлевич, внимательно следивший за мной, увидел мою растерянность, почувствовал мое отчаяние и решил прибегнуть к особому педагогическому приему — стоя у рампы, он кричал мне: «Молодец! Молодец, Раневская! Так! Так... Хорошо! Правильно! Умница!» И, обращаясь к моим партнерам на сцене и сидевшим в зале актерам, сказал: «Смотрите, как она умеет работать! Как нашла в роли то, что нужно. Молодец, Раневская!»

А я тогда еще ничего не нашла, но эти слова Таирова помогли мне преодолеть чувство неуверенности в себе. Вот если бы Таиров закричал мне тогда «не верю», я бы повернулась и ушла со сцены навсегда.

В день премьеры, прошедшей с большим успехом, я не смогла (просто не решилась — было страшно) спуститься «на поклоны» с моей верхотуры и кланялась, стоя наверху, под колосниками. Когда занавес закрылся и аплодисменты стихли, я увидела, что Александр Яковлевич быстро, хотя и с трудом, поднимается по узкой шаткой лестнице ко мне. Взволнованный, он обнял, поздравил, похвалил меня и почти на руках спустил меня вниз.

Вспоминая Таирова, мне хотелось сказать о том, что Александр Яковлевич был не только большим художником, но еще и человеком большого доброго сердца. Чувство благодарности за его желание мне помочь я пронесла через всю жизнь.

...Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа, мимо артистических уборных,

Александр Яковлевич вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой: «Знаете, дорогая, похоже, что театр кончился: в театре пахнет борщом». Действительно, в условиях того времени технический персонал, работавший в театре безвыходно, часто готовил себе нехитрые «обеды» на электроплитках. Для всех нас это было в порядке вещей, но Таиров воспринимал это как величайшее кощунство. И в этом, казалось бы, незначительном, чисто житейском эпизоде я увидела то, что нас, работавших с ним, всегда восхищало: его неизменно рыцарское, абсолютно бескомпромиссное отношение к искусству, которому он служил.



...Таиров был уже смертельно болен. Не могу без содрогания вспоминать их прелестный дом, в котором я бывала раньше, и разрушение его после смерти Алисы. Распродажу вещей, суету вокруг вещей. Гадко и страшно мне было.

...Когда отняли у Таирова театр, Алиса (Алиса Коонен. — *Д. Щ.*) жаловалась мне: «Подумайте, как же мне теперь? Если бы Станиславский был жив, неужели я бы осталась без театра?»

Я просила Завадского пригласить ее — отказал.

Алиса мне говорила много того, чего нет в ее интересной книге: «...подумайте, как мне было трудно любить Федю Протасова — Москвина... Я прижимаюсь к нему, обнимаю, а он в корсете. Я в ужасе, а надо любить, а я в ужасе».

Больше всего я ее помню в спектакле «Машиналь». Ясно вижу в «Сакунтале». Это было зрелище изумительное, весь спектакль. Я была на генеральной в 1914 году. Я любила ее во всех ролях.

В последнее время старалась не попадаться ей на глаза. Мне дали народную СССР, а у нее отняли все — Таирова, театр, жизнь.

После кончины обезумевшего от горя Таирова Алиса попросила меня пойти с нею в суд, где бы я свидетельствовала, что они были долгие годы вместе, что это было супружество, — формальность была необходима для ввода Алисы в наследство. Когда мы после этой процедуры шли обратно, она долго плакала, уткнулась мне в плечо. Она сказала: «Нас обвенчали после его смерти». Такой человеческой я увидела ее впервые.

Свое одиночество она скрывала ото всех. Мне однажды сказала Павла Леонтьевна, что не видела актрисы, которая так гениально молчала. Она видела Коонен в каком-то спектакле во МХАТе, где Алиса сидела на подоконнике (или смотрела в окно) и молчала, но такой силы, очевидно, был ее внутренний монолог, что он звучал как слова, полные горечи, боли. Сейчас актеры не умеют молчать, а кстати, и говорить. Слова съедают, бормочут что-то про себя, концы слов не слышны. Культура речи даже в прославленных в прошлом театрах ушла. А дикторы по радио делают такие ударения, что хочется заткнуть и уши и радио!



В то время директором нашего театра (ЦТКА. — Д. Щ.) был Владимир Евгеньевич Месхетели, известный театральный деятель, человек, глубоко и страстно любящий театр. Он с большим вниманием относился к актерам и старался каждого из нас занять интересной большой работой. В частности, по его инициативе я получила роль Вассы.

Несмотря на огромный соблазн работать над такой прекрасной ролью и играть ее, я попросила не занимать меня в ней, из опасения не справиться с Вассой, и даже предлагала дать мне роль Анны Оношенковой. Мне казалось тогда, что я вижу Анну отчетливее, яснее. И все же мне пришлось играть Вассу. Но сомнения и опасения мои были так велики, что я написала о них Алексею Максимовичу Горькому. Однако послать письмо я не решилась: в те дни Горький уже был тяжело болен. А когда я шла на генеральную репетицию, то увидела на улице приспущенные в знак траура по Горькому флаги.

Репетировала в 36 году с режиссером Телешевой «Вассу Железнову» в Театре Красной Армии. Ее позвали к телефону, звонил Константин Сергеевич. Телешева отвечала, волнуясь, на все его вопросы, заявив, что у актера, играющего в массовой сцене, болят зубы и что актер просит разрешения перевязать щеку, опасаясь простуды. Я взяла соседнюю трубку, чтобы послушать все, что говорит К. С. Он категорически запретил перевязывать щеку. На вопрос Телешевой — как же

быть, К. С. сказал: «Заменить спектакль». Затем Телешева пожаловалась на Ливанова, говоря, что он ее не слушает, на что Станиславский ответил грозно: «Пожалуйста, не трогайте Ливанова, он сам дойдет». А ведь Телешева была режиссером спектакля...

Играли мы в ту пору в помещении бывшего театра ЦДКА, в небольшом зале, с одной-единственной артистической уборной, где гримировались мужской и женский состав труппы. Одна комната, разделенная перегородкой, даже не доходившей до потолка, служила нам и гримировальной, и местом отдыха. Благодарно вспоминаю моих товарищей, с которыми играла Вассу Железнову в этих трудных условиях. Не помню, чтобы нам приходилось призывать друг друга к тишине, не помню, чтобы кто-нибудь из нас мешал другому сосредоточиться, внутренне собраться. Молча готовились мы к выходу на сцену, тоже небольшую и неприспособленную к условиям профессионального театра. Это не мешало нам вдохновенно трудиться над замечательным творением Горького.



Однажды я собрала все фотографии, на которых была изображена в ролях, сыгранных в периферийных театрах, а их оказалось множество, и отправила на «Мосфильм»... И... была наказана за такую свою нескромность.

...Один мой приятель-актер, С. Гартинский, который в то время снимался в кино, чем вызы-

вал во мне чувство черной зависти, вернул однажды мои снимки, сказав: «Это никому не нужно — так просили вам передать».

Я подумала: переживу. Но перестала ходить в кино. Однажды ко мне подошел приветливый молодой человек и сказал, что видел меня в спектакле Камерного театра «Патетическая соната», после чего загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулась ему на шею.

Этот фильм стал первой самостоятельной работой в то время молодого художника Михаила Ромма.



К Михаилу Ильичу Ромму отношусь с любовью и благодарностью за то, что он привел меня в кинематограф, где я (некстати сказать) хлебнула и горя.

Первая встреча с Михаилом Ильичом была в фильме «Пышка» по Мопассану. В то время я не имела представления о работе в кино. Я была уверена, что это происходит, как в театре, — «по звонку» к началу и антрактам и что, как в театре, в определенный час бывает конец спектакля.

В те годы работать в кино было еще более трудно. «Мосфильм» плохо отапливался. Я не могла привыкнуть к тому, что на съемочной площадке, пока не зажгутся лампы, холодно и сыро, что в ожидании начала съемки необходимо долго томиться, бродить по морозному павильону. К тому же на меня надели вериги в виде платья, сшитого из остатков грубого материала, кото-

рым была обита карета героев «Пышки». Много еще оставалось вокруг неуютного, нехорошего, а я привыкла к теплomu и чистому помещению театра... В общем, я решила сбежать с картины. По неопытности. Помнится, мы с Михаилом Ильичом смертельно обиделись друг на друга. Кончилось же все это работой, съемками.

А во время съемок я в него влюбилась. Все, что он делал, было талантливо, пленительно. Все в нем подкупало: и чудесный вкус, и тонкое понимание мопассановской новеллы, ее атмосферы.

Видимо, добрейший Михаил Ильич простил мне мою попытку дезертировать, потому что позвал меня сниматься в своем новом фильме «Мечта»... Это были счастливые мои дни.

За всю долгую жизнь я не испытывала такой радости ни в театре, ни в кино, как в пору нашей второй встречи с Михаилом Ильичом. Такого отношения к актеру — не побоюсь слова, — нежного, такого доброжелательного режиссера-педагога я не знала, не встречала. Его советы-подсказки были точны и необходимы. Я навсегда сохранила благодарность Михаилу Ильичу за помощь, которую он оказал мне в работе над ролью пани Скороход в «Мечте», и за радость, когда я увидела этот прекрасный фильм на экране.

...К сожалению — я бы могла сказать: даже и к несчастью, после «Мечты» наши пути с Михаилом Ильичом в кинематографе разошлись. Но я оставалась верной «Мечте», воспоминаниям о светлых и захватывающих днях нашей работы, я

мечтала о ее продолжении. И мне казалось, что мы действительно встречались с Михаилом Ильичом, вновь становились единомышленниками и соратниками в искусстве всякий раз, когда я видела на экранах лучшие его кинокартины.



М. Ромм повел меня к Шостаковичу, я стеснялась, боялась, трудно около гения, о чем говорить? Решилась сказать, что потряс 8-й квартет.

А на другой день он прислал мне пластинки всех квартетов.

Маленький, величественный, простой, скорбный.

Ужасно понравился.

Скромный, знает ли, что он — гений?

Нет, наверное.

67 год



...Однажды попала в больницу по поводу диабета. В коридоре увидела Шостаковича и завопила: «Какая радость вас видеть!». Страшно смутилась, и мы оба рассмеялись. Он мне тоже обрадовался.

...Спросил, люблю ли я музыку. Я ответила: если что-то люблю по-настоящему в жизни, то это природа и музыка. Он стал спрашивать:

— Кого вы любите больше всего?

— Я люблю такую далекую музыку. Бах, Глюк, Гендель...

Он с интересом стал меня рассматривать.

— А оперу любите?

— Нет, кроме Вагнера.

Он опять посмотрел. С интересом.

— Вот Чайковский, — продолжала я, — написал бы музыку к «Евгению Онегину», и жила бы она. А Пушкина не имел права трогать. Пушкин — сам музыка. Не надо играть Пушкина... Пожалуй, и читать в концертах не надо. А тем более танцевать... И самого Пушкина ни в коем случае изображать не надо. Вот у Булгакова хватило такта написать пьесу о Пушкине без самого Пушкина.

Опять посмотрел с интересом. Но ничего не сказал.

А на обложке его квартетов я прочла: «С восхищением Ф. Г. Раневской».

...Я рассказала ему, как мы с Ахматовой слушали знаменитую «Ленинградку» в Ташкенте, в эвакуации, как дрожали обе, слушая его гениальную музыку. В ней было все: было время наше, время войны, бед, горя. Мы плакали. Она редко плакала.

Рассказывала, с каким волнением слушаю 8-й квартет, как потрясла меня его музыка.

Был он таким тихим, кротким. Однажды поднял рукав пижамы, показал тонкую руку ребенка, сказал: «Посмотрите, что стало с моими руками». Жаловался, что к нему не пускают внуков, что смотрит на них в окно, а хочется с ними побеседовать, слушать их. «Ведь они так быстро растут», — говорил он печально.

И теперь, когда смотрю на его фото с доброй, ласковой надписью, хочется плакать.

Я не имею права жаловаться — мне везло на людей.



Любила, восхищалась Ахматовой. Стихи ее смолоду вошли в состав моей крови.

Есть еще и посмертная казнь, это воспоминание о ней ее «лучших» друзей.

Одно время я записывала все, что она говорила. Она это заметила, попросила меня показать ей мои записи.

— Анна Андреевна, я растапливала дома печку и по ошибке вместе с другими бумагами сожгла все, что записала, а сколько там было замечательного, вы себе представить не можете, Анна Андреевна!

— Вам 11 лет и никогда не будет 12, — сказала она и долго смеялась.



Ф. Г. РАНЕВСКАЯ — А. А. АХМАТОВОЙ

(Написано под диктовку)

Спасибо, дорогая, за Вашу заботу и внимание и за поздравление, которое пришло на третий день после операции, точно в день моего рождения в понедельник.

Несмотря на то что я нахожусь в лучшей больнице Союза, я все же побывала в дантовом аду, подробности которого давно известны.

Вот что значит операция в мои годы со слабым сердцем. На вторые сутки было совсем плохо, и вероятнее всего, что если бы я была в другой больнице, то уже не могла бы диктовать это письмо.

Опухоль мне удалили, профессор Очкин предполагает, что она была незлокачественной, но сейчас она находится на исследовании.

В ночь перед операцией у меня долго сидел Качалов В. И. и мы говорили о Вас.

Я очень терзаюсь кашлем, вызванным наркозом. Глубоко кашлять с разрезанным животом непередаваемая пытка. Передайте привет моим подругам.

У меня больше нет сил диктовать, дайте им прочитать мое письмо. Сестра, которая пишет под мою диктовку, очень хорошо за мной ухаживает, помогает мне. Я просила Таню Тэсс Вам дать знать результат операции. Обнимаю Вас крепко и благодарю.

Мой адрес: улица Грановского, Кремлевская больница, хирургическое отделение, палата 52.

Ваша Фаина (рукой Раневской). 28.8.45 г.



Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге. Прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы мой поэт», — извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты — дарила меня дружбой до конца своих дней.

...Я никогда не обращалась к ней на «ты». Мы много лет дружили, но я просто не могла бы обратиться к ней так фамильярно.

Она была великой во всем. Я видела ее кроткой, нежной, заботливой. И это в то время, когда ее терзали.

...Во время войны Ахматова дала мне на хранение папку. Такую толстую. Я была менее «культурной», чем молодежь сейчас, и не догадалась заглянуть в нее. Потом, когда арестовали сына второй раз, Ахматова сожгла эту папку. Это были, как теперь принято называть, «сожженные стихи». Видимо, надо было заглянуть и переписать все, но я была, по теперешним понятиям, необразованной.

...Проклинаю себя за то, что не записывала за ней все, что от нее слышала, что узнала! А какая она была труженица: и корейцев переводила, и Пушкиным занималась...

...В Ташкенте А. А. писала пьесу, в которой предвосхитила все, что с ней сделали в 46 году. Потом пьесу сожгла. Через много лет восстанавливала по памяти.

В Комарове читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала ее философии, но ощущала, что это нечто гениальное. Она спросила — могла бы такая пьеса быть поставлена в театре?

В пьесе был человек, с которым героиня вела долгий диалог, которого я не поняла, отвлеченный, философский и, по словам Анны Андреевны, этот человек из пьесы к ней пришел однаж-

ды, и они говорили до рассвета. Об этом визите она часто вспоминала, восхищаясь ночным собеседником, а в Комарове показала мне его фотографию.

...Анна Андреевна была бездомной, как собака.

...В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.

— Я буду вашей *madame de Lambaille*, пока мне не отрубили голову — истоплю вам печку.

— У меня нет дров, — сказала она весело.

— Я их украду.

— Если вам это удастся — будет мило.

Большой каменный саксаул не влезал в печку, я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне нечем платить. «А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги что? Деньги это еще не все».

Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне.

— А я сейчас встретила Платона Каратаева.

— Расскажите...

«Спасибо, спасибо», — повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова. У нее оказалась картошка, мы ее сварили и съели.

Никогда не встречала более кроткого, неприязнательного человека, чем она...

...Однажды в Ташкенте Анна Андреевна написала стихи о том, что, когда она умрет, ее пойдут провожать: «Соседки из жалости — два квартала, старухи, как водится, — до ворот», прочитала их мне, а я говорю: «Анна Андреевна, из этого могла бы получиться чудесная песня для швейки. Вот сидит она, крутит ручку машинки и напевает». Анна Андреевна хохотала до слез, а потом просила: «Фаина, исполните «Швейкину песню!»»

Вот ведь какой человек: будь на ее месте не великий поэт, а средненький — обиделся бы на всю жизнь. А она была в восторге... Была вторая песня, мотив восточный: «Не любишь, не хочешь смотреть? О как ты красив, проклятый!!!» — и опять она смеялась.

Там, куда приехала Анна Андреевна в Ташкенте, где я жила с семьей во время войны (семья П. Л. Вульф. — *Д. Ш.*), во дворе была громадная злая собака. Анна Андреевна боялась собак. Собаку загоняли в будку. Потом при виде А. А. собака пряталась по собственной инициативе. Анну Андреевну это очень забавляло. «Обратите внимание, собака при виде меня сама уходит в будку».

...Маленький Алеша, сын И. С. Вульф, в то время, когда она (А. А. Ахматова) у нас обедала, долго смотрел на нее, а потом сказал, что она «мировая тетя». А. А. запомнила это настолько, что, когда мальчик подрос, с огорчением сказала мне: «Алеша будет знать обо мне теперь из учебника по литературе...»

...В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне.

«Сжала руки под темной вуалью» — это тоже мои Мули», — ответила она.

Я закричала: «Не кощунствуйте!»

...У нее был талант верности. Мне известно, что в Ташкенте она просила Л. К. Чуковскую у нее не бывать, потому что Лидия Корнеевна говорила недоброжелательно обо мне.

...Часто замечала в ней что-то наивное, это у Гения, очевидно, такое свойство. Она видела что-то в человеке обычном — необычное или наоборот.

Часто умилялась и доверяла тому, что во мне не вызывало доверия и умиления. Пример первый: Надька Мандельштам. Анна Андреевна любила это чудовище, верила ей, жалела, говорила о ней с нежностью.

...Анна Андреевна очень чтит Мандельштама и была дружна с крокодилницей его женой, потом вдовой, ненавидевшей Ахматову и писавшей оскорбительно для А. А.

Ахматова чудо. Оценят ли ее потомки? Поймут ли? Узнают в ней Гения? Нет, наверно.

...Как-то А. А. за что-то на меня рассердилась. Я, обидевшись, сказала ей что-то дерзкое. «О, наша фирма — два петуха!» — засмеялась она.

...В Ташкенте мы обе были приглашены к местной жительнице, сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно. И потом, через много лет, она говорила: «А вы помните, как в комнату пришел баран и как это было удивительно. Почему-то я не могу забыть этого барана». Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда», — рассердилась она.



Однажды я спросила ее: «Стадо овец... кто муж овцы?» Она сказала: «Баран, так что завидовать ему нечего». Серdito ответила, была чем-то расстроена.



«Фаина, вы можете представить меня в мехах и бриллиантах?» И мы обе расхохотались.



Есть такие, до которых я не смею дотронуться, отказалась писать о Качалове, а уж об А. А. давно. В ней было все. Было и земное, но через божественное... Однажды я рассказала ей, как в Крыму, где я играла в то лето в Ялте — было это при белых, — в парике, в киоске сидела толстая пожилая поэтесса. Перед ней лежала стопка тон-

ких книжек ее стихов. «Пьяные вишни» назывались стихи, и посвящались стихи «прекрасному юноше», который стоял тут же, в киоске. Герой, которому посвящались стихи, был косой, с редкими прядями белесых волос. Стихи не покупали. Я рассказала Ахматовой, смеясь, о даме со стихами. Она стала мне выговаривать: «Как вам не совестно! Неужели вы ничего не предпринимали, чтобы книжки покупали ваши знакомые? Неужели вы только смеялись? Ведь вы добрая! Как вы могли не помочь!» Она долго сердилась на меня за мое равнодушие к тому, что книги не покупали. И что дама с ее косым героем книги относилась домой.



Однажды я застала ее плачущей, она рыдала. Я до этого никогда не видела ее в слезах и очень обеспокоилась. Внезапно она перестала плакать, помолчала: «Знаете, умерла первая жена моего бывшего мужа. Вам не кажется ли смешным то, что я ее так оплакиваю?»

В Ташкенте она получила открытку от сына из отдаленных мест. Это было при мне. У нее посинели губы, она стала задыхаться. Он писал, что любит ее, спрашивал о своей бабушке — жива ли она?

Бабушка — мать Гумилева.

Незадолго до смерти она говорила с тоской невыразимой, что сын не хочет ее знать, не хочет видеть. Она говорила мне об этом и в Комарове. И всегда, когда мы виделись.

...Она была удивительно доброй. Такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждущие ее видеть, слышать. Ее просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчужденность, она замолкала. Лицо сказочно прекрасное делалось внезапно суровым. Я боялась, что среди слушателей окажется невежественный нахал.



Про известного писателя, которого, наверное, хотела видеть в числе друзей, сказала: «Знаете, о моей смерти он расскажет в придаточном предложении, извинится, что куда-то опоздал, потому что трамвай задавил Ахматову, он не мог продрасться через толпу, пошел другой стороной».



Проводила Ахматову к Шервинскому. Одна шла домой. На обратном пути дождь загнал меня к писателям. Анекдоты, разговоры о заработках, скандал, крики жены из соседней комнаты — богатство, скупость, распутство, скука. Не покормили, вернулась ночью, съела завтрашний обед.

29 мая 48 г.



...Однажды сказала: «Что за мерзость антисемитизм, это для негодяев — вкусная конфета, я не понимаю, что это, бейте меня, как собаку, все равно не пойму».



Она была женщиной больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то гуляли с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена... А за тем окном я целовалась».

...Я знала объект последней любви Ахматовой. Это был внучатый племянник Всеволода Гаршина. Химик, профессор Военно-медицинской академии. Он предложил Ахматовой брак. Она отказалась.



Она (Ахматова) называла это «моя катастрофа». Рассказала, что к ней пришел циркач-канатоходец. Силач, полуграмотный, вскоре после своей «катастрофы», и стал просить ее или усыновить его, или выйти за него замуж...



...Читала однажды Ахматовой Бабеля, она восхищалась им, потом сказала: «Гений он, а вы заодно».

После ее слов о том, что Гаршин сделал ей предложение стать его женой, как она смеялась, когда я ей сказала:

Давно, давно пора...

Сменить вам нимб на флердоранж.

Ахматова не любила двух женщин. Когда о них заходил разговор, она негодовала. Это Наталья Николаевна Пушкина и Любовь Дмитриевна

Блок. Про Пушкину она даже говорила, что та — агент Дантеса.

Когда мы начинали с Анной Андреевной говорить о Пушкине, я от волнения начинала заикаться. А она вся делалась другая: воздушная, неземная. Я у нее все расспрашивала о Пушкине... Анна Андреевна говорила про пушкинский памятник: «Пушкин так не стоял».

...Мне думается, что так, как А. А. любила Пушкина, она не любила никого. Я об этом подумала, когда она, показав мне в каком-то старом журнале изображение Дантеса, сказала: «Нет, вы только посмотрите на это!» Журнал с Дантесом она держала, отстранив от себя, точно от журнала исходило зловоние. Таким гневным было ее лицо, такие злые глаза... Мне подумалось, что так она никого в жизни не могла ненавидеть.

Ненавидела она и Наталью Гончарову. Часто мне говорила это. И с такой интонацией, точно преступление было совершено только сейчас, сию минуту.



Сегодня у меня обедала Ахматова, величавая, величественная, ироничная, трагическая, веселая и вдруг такая печальная, что при ней неловко улыбнуться и говорить о пустяках. Как удалось ей удержаться от безумия — для меня непостижимо.

Говорит, что не хочет жить, и я ей абсолютно верю. Торопится уехать в Ленинград. Я спросила: «Зачем?» Она ответила: «Чтобы нести свой крест».

Я сказала: «Несите его здесь». Вышло грубо и неловко. Но она на меня не обижается никогда.

Странно, что у меня, такой сентиментальной, нет к ней чувства жалости или участия. Не шевелятся во мне к ней эти чувства, обычно мучающие меня по отношению ко всем людям с их маленькими несчастьями.



...Вспомнила, как примчалась к ней после «Постановления». Она открыла мне дверь, потом легла, тяжело дышала... В доме было пусто. Пунинская родня сбежала. Она молчала, я тоже не знала, что ей сказать. Она лежала с закрытыми глазами. Я видела, как менялся цвет ее лица. Губы то синели, то белели. Внезапно лицо становилось багрово-красным и тут же белело. Я подумала о том, что ее «подготовили» к инфаркту. Их потом было три, в разное время.

Молчали мы обе. Хотелось напоить ее чаем — отказалась. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее знобило. Есть отказалась. Это день ее муки и моей муки за нее. Об «этом» не говорили.

Через какое-то время она стала выходить на улицу. И, подведя меня к газете, прикрепленной к доске, сказала: «Сегодня хорошая газета, меня не ругают».

...И только через много дней вдруг сказала: «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобились»

лось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?»

И опять молчала...

Я пригласила ее пообедать. «Хорошо, но только у вас в номере». Очевидно, боялась встретить знающих ее в лицо. В один из этих страшных ее дней спросила: «Скажите, вам жаль меня?» «Нет», — ответила я, боясь заплакать. «Умница, меня нельзя жалеть».



Именины А. Она говорит, что Бор. Пастернак относится к ней, как я к П. Л. (к Павле Леонтьевне Вульф. — Д. Щ.).

...Не встречала никого пленительней, ослепительней Пастернака. Это какое-то чудо. Гудит, а не говорит, и все время гудит, что-то читая...

Я знала блистательных — Михоэлс, Эйзенштейн, — но Пастернак потрясает так, что его слушаю с открытым ртом. Когда они вместе — А. и П., — то кажется, будто в одно и то же время в небе солнце, и луна, и звезды, и громы, и молнии. Я была счастлива видеть их вместе, слушать их, любоваться ими.



Люди, дающие наслаждение, — вот благодать!



Борис Пастернак слушал, как я читаю «Беззащитное существо», и хохотал по-жеребьячи. Анна Андреевна говорила: «Фаина, вам 11 лет и никогда не будет 12. А ему всего 4 годика».



...Вот что вспоминается. А. А. лежала в Боткинской больнице (в тот период моей жизни я еще могла входить в больницу). Часто ее навещала. Она попросила меня приехать после похорон Пастернака и рассказать ей все, что я видела. Смерть Б. Л. ее очень угнетала. Я делилась с ней моими впечатлениями и сказала, что была нестерпимая духота, что над нами, над огромной толпой, висели свинцовые тучи, а дождя не было, что гроб несли на руках до самой могилы, что Б. Л. в гробу был величавый, торжественный.

А. А. слушала внимательно, а потом сказала: «Я написала Борису стихи».

Запомнилось не все, но вот что потрясло меня:

Здесь все принадлежит тебе по праву.

Висят кругом дремучие дожди.

Отдай другим игрушку мира — Славу,

Иди домой и ничего не жди.

Да, висели дремучие дожди, и мысли у всех нас были о славе, которая ему больше не нужна, обо всем, что было в этих строках.



Арсения Тарковского очень любила и ценила и как человека, и как поэта. Арс. Тарк. прислал мне свою последнюю книжку стихов. Я позвонила, благодарила. Он мне сказал: «Нет Анны Андреевны, мне некому теперь читать мои стихи».



Была у Т. (Арсений Тарковский. — Д. Щ.) Сидел там мальчик, приехавший из Ташкента. Поэт 16 лет. Ахматова считает, что этот юноша одарен очень, но дарование его какое-то пожилое. Валя Берестов. Я всмотрелась в глаза. Глаза умные, стариковские. Улыбка детская. Ужасно симпатичен. Влюблен в Пастернака, в Ахматову.



Если будет ваша милость — сверните мне козью ножку.

«Целый день думаю о стихах Леонида Первомайского, вспоминаю их. Как это верно про письма жены на фронт: невозможно бросить их и нельзя с собой таскать.

Стихи запомнила, говорила наизусть.

В Ташкенте о том, что А. А. весь день говорила о стихах Леонида Первомайского с такой любовью, знала их наизусть, я сказала Маргарите Алигер и просила ее об этом написать Первомайскому, он был бы рад. Спросила Алигер: «Вы писали, как я просила вас?» Ответила: «Ах, забыла». А вскоре он умер, так и не узнав о том, что Ахматова его так похвалила.



Я отдыхала с Анной Андреевной в доме писателей в «Голицыно». Мы сидели в лесу на пнях. К ней подошла седая женщина, она назвала себя поэтом, добавила, что пишет на еврейском языке и что ее зовут еврейской Ахматовой.

— Тогда приходите ко мне сегодня же к вечеру, дайте мне ваши стихи, и я их переведу.

Они условились о встрече. (Это была поэтесса Рахиль Баунвиль, — ее Ахматова переводила.)



Ленинград без Ахматовой для меня поблек, не могу себя заставить съездить на ее холмик взглянуть. Зачем? У меня в ушах ее голос, смех...

...Смерть Анны Андреевны — непривычное мое горе. В гробу ее не видела, вижу перед собой ее живую. В Комарове она вышла проводить меня за ограду дачи, которую звала «моя будка». Я спешила к себе в дом отдыха, опаздывала к ужину... Она стояла у дерева, долго смотрела мне вслед. Я все оборачивалась, она помахала рукой, позвала вернуться... Я подбежала. Она просила меня не исчезать надолго, приходить чаще. Но только во вторую половину дня, так как по утрам она работает, переводит.

Когда я пришла к ней на следующий день, она лежала. Окно было занавешено... Я подумала, что она спит: «Нет, нет, входите, я слушаю музыку, в темноте лучше слышится...»

Она любила толчею вокруг, называла скопище гостей «станция Ахматовка». Когда я заставляла ее на даче в одиночестве, она говорила: «Человека забыли...»¹

¹ Реплика Фирса, оставленного в заколоченном доме (из «Вишневого сада», А. П. Чехов).



Когда тяжело заболела Н. Ольшевская, ее близкий друг, она сказала: «Болезнь Нины — большое мое горе». Она любила семью Ардовых и однажды в Ленинграде сказала, что собирается в Москву, домой, к своим, к Ардовым. В Москве позвонила, пообещав, если я приду, рассказать мне «турусы на колесах». Я просила ее объяснить, что означает это выражение. «А вот придете — скажу». Но я позабыла спросить про эти «турусы».

Умирая, А. Ахматова кричала: «Воздуха, воздуха...»

Доктор сказал, что, когда ей в вену ввели иглу с лекарством, она была уже мертва.



Из дневника Анны Андреевны: «Теперь, когда все позади — даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то, почти мучительно, проясняется: люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни.

И сколько горьких и даже страшных чувств».

Я написала бы все то же самое. Гений и смертный чувствуют одинаково в конце, перед неизбежным.

Все время думаю о ней, вспоминаю. Скучно без нее.

Она любила говорить о матери. С нежностью говорила, умилялась деликатности матери. О сес-

трах, рано умерших, не вспоминала. Говорила о младшем брате, о его недоброте.

Будучи в Ленинграде, я часто ездила к ней за город, в ее будку, как звала она свою хибарку. Помнится, она сидела у окна, смотрела на деревья и, увидев меня, закричала: «Дайте, дайте мне Раневскую...» Очевидно, было одиноко, тоскливо.

Стала она катастрофически полнеть, перестала выходить на воздух. Я повела ее гулять, сели на скамью, молчали. Лева был далеко...



Почему я так не люблю пушкинистов? Наверное, потому, что неистово люблю Пушкина. Он мне осмыслил мою жизнь. Что бы я делала без него?

Есть еще посмертная казнь поэта — «Воспоминания».

Читаю этих сволочных вспоминательниц об Ахматовой и бешусь. Этим стервам охота рассказать о себе. Лучше бы читали ее, а ведь не знают, не читают.

Она украсила время.

Однажды сказала мне: «Моя жизнь — это не Шекспир, это Софокл. Я родила сына для каторги». ...Я примчалась в Ленинград после постановления.

...Прошло немало лет с того времени, как появилось это постановление. А. А. нет уже 12 лет.

Я ничего не прощаю.



А. А. с ужасом сказала, что была в Риме в том месте, где первых христиан выталкивали к диким зверям. Передаю неточно, — это было первое, что она мне сказала. Говорила о том, что в Европе стихи не нужны, что Париж изгажен тем, что его отмыли. Отмыли от средневековья.



По ночам в трубах стонет и плачет вода.

Она в гробу, я читаю ее стихи и вспоминаю живую, стихи непостижимые, такое чудо Анну Андреевну...

5 марта 10 лет нет ее, — к десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи.



Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили...

Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее.

78 год



Читаю дневник Маклая, влюбилась и в Маклая, и в его дикарей.

Я кончаю жизнь банально-стародевически: обожаю котенка и цветочки до страсти.

48 год, март



...Миклухо-Маклай родился в 1846, а умер в 1888 году. Значит, он жил 42 года. И значит, 15 апреля 1948 года — 60 лет со дня его смерти. Не знаю ни одной человеческой жизни, которая так восхищала и волновала меня. В Ташкенте, в эвакуации, к Ахматовой однажды вошла степенная старушка. Ахматова мне сказала, что старушка в большой нужде. Они разговаривали об общих знакомых-ленинградцах светским тоном. По уходе старушки я узнала, что это была Миклухо-Маклай, но кто, как и кем ему приходится — я не спросила.

Наверное, от замученности жарой пропустила и это, как многое пропустила в то время.

...Вот что я хотела бы успеть перечитать: Руссо — «Исповедь», Герцен — «Былое и думы», Толстой — «Война и мир», Вольтер — «Кандид», Сервантес — «Дон-Кихот». Данте. Всего Достоевского.

Все то, что люблю помимо этого: «Тома Сойера», Лескова почти все. Бабеля (многое помню наизусть), «Тартарена» Доде, «Хромого Беса».

Хотелось бы прочесть всего Маклая.

«Будь верным, но о верности забудь!

Коль хочешь быть богатым — бедным будь».

Навои.

«Вот и все» — надгробная эпитафия.

«Души же моей он не знал, потому что любил ее». Толстой.

«ТРУПЫ ДНЕЙ УСТИЛАЛИ МОЙ ПУТЬ, И Я ПЛАЧУ НАД НИМИ»

Узнала сейчас в газете о смерти Ольги Берггольц.

Я ее очень любила.

Анна Андреевна считала ее необыкновенно талантливой.

*Так мало в мире нас осталось,
что можно шепотом произнести
забытое, людское слово «жалость»,
чтобы опять друг друга обрести.*

О. Берггольц



Ахматова говорила: «Беднягушка Оля». Она ее очень любила. Все мы виноваты и в смерти Марины (Цветаевой. — Д. Ш.). Почему, когда погибает Поэт, всегда чувство мучительной боли и своей вины? Нет моей Анны Андреевны, — все мне объяснила бы, как всегда.



Грустно, нестерпимая тоска, смертное одиночество. Сейчас позвонила сестра, просила прийти на вечер ее (Ольги Берггольц. — Д. Ш.)

памяти. Мне нездоровится, я отказала, а теперь это мучает.

С любовью думаю об Ольге Берггольц. Вспоминаю, как вскоре после войны приехала в Ленинград. Меня встретили на вокзале — Ольга, Ахматова, которую я предупредила телеграммой о дне и часе прихода поезда. Выйдя из вагона, я встала на колени и заплакала. Ольга сказала мне: «Так надо теперь приезжать в наш город». Ольга была еще блокадная, худющая, бледно-серая. А. А., как всегда, — величественная. Была она эвакуирована в Ташкент, все рвалась домой, в Ленинград. В Ташкенте мы не расставались. Помню, что Ташкент ей нравился. Мы с ней гуляли по рынку, любовались фруктами, не имея возможности купить. А. А. мне говорила, что считает Ольгу Берггольц поэтом прекрасным... Я тоже любила Ольгу Федоровну, узнав ее ближе, узнав ее превосходные стихи. Страшно жалела ее. Больна она была непоправимо.

80 г.



Прислали мне стихи Марии Сергеевны Петровых. Вспомнила я ее с невыразимой нежностью. Уже не помню, с кем она пришла, кто привел ее, такую на редкость милую, застенчивую, тихую. Читала мне свои дивные стихи и смущалась. Ее нежно любила Анна Андреевна, называла ее «Марусенька хорошая», любила ее стихи, считала прекрасным поэтом. У Анны Андреевны светлело лицо, когда она говорила о М. Петровых.



Ф. Г. РАНЕВСКАЯ — Е. С. БУЛГАКОВОЙ

Спасибо, дорогая моя Елена Сергеевна, за письмо. Мне понятно Ваше предотъездное трепыхание, пейте валерьянку и напевайте «три богини спорить стали...». Это проверено, очень помогает. Подумайте только спокойно: «Впереди Париж!» Умница, что поездом.

Дорогая, я получила сегодня письмо из Парижа от одной чудесной старой дамы — подруги моей сестры, — русской, замужем за французом-профессором. Белла обожала эту свою подругу. Представьте, живя 50 лет в Париже, эта Мария Васильевна не научилась говорить по-французски! Имея в мужьях француза! Прелесть!

Если у Вас будет свободная минута, не откажите попросить Вашу родственницу посмотреть в телефонной книге профессора Pier De Vambez.

Вот обрадуете, если скажете, что были дружны с Беллой.

А профессор покажет Вам всякие прелести.

Будьте благополучны.

Господь с Вами.

Обнимаю. Фаина



Елену Сергеевну Булгакову хорошо знала. Она сделала все, чтобы современники поняли и оценили этого гениального писателя. Она мне однажды рассказывала, что Булгаков ночью пла-

кал, говоря ей: «Почему меня не печатают, ведь я талантливый, Леночка!»

Помню, услышав это, я заплакала.



...Вчера была Лиля Брик, принесла «Избранное» Маяковского и его любительскую фотографию. Она еще благоухает довоенным Парижем. На груди носит цепочку с обручальным кольцом Маяковского, на пальцах бриллианты. Говорила о своей любви к покойному... Брику. И сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю.

Я спросила: «Отказались бы и от Маяковского?»

Она, не задумываясь, ответила: «Да, отказалась бы и от Маяковского. Мне надо было быть только с Осей».

Бедный, она не очень его любила...

Пришла С. С. и тоже много рассказывала о Маяковском. Он был первый в ее жизни. Рассказывала о том, какую нехорошую роль играл в ее отношениях с Маяковским Чуковский, который тоже был в нее влюблен.

Когда они обе ушли, мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому. И даже физически заболело сердце.

Потом пришла Ирина Вульф и отвлекла от мыслей о Маяковском.

С. С. говорила, что Маяковский тосковал по дочери в Америке, которой было три года во время их последней встречи.



...Чем чаще я виделась с Норочкой Полонской, тем больше и больше жалела Маяковского.

Сплетен было так много в то время, потом читала ее воспоминания и просила ее не показываться у меня хотя бы год — она славная, только славная, как Натали, не понимающая, кто рядом.



Ночью читала Марину — гений, архигениальная, и для меня трудно и непостижимо, как всякое чудо. А вот тютчевское «и это пережить, и сердце на куски не разорвалось» разрывает сердце мне.

Есть имена, как душистые цветы,
И взгляды есть, как пляшущее пламя,
Есть тонкие извилистые рты
С глубокими и влажными углами.
Есть женщины, их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. Зачем тебе, зачем
Моя душа — Спартанского ребенка.

Марина Цветаева

Почему, почему мне пришли сейчас на память эти стихи молоденькой Марины?

Стала учить старую пьесу Островского и вспомнила эти строки. Откуда, зачем, почему? Ничего не понимаю и не пойму. Помню, как Марина читала, ни на кого не похожая, нездешняя. Потом вспомнила Марину старую, после Парижа, после гибели мужа. Я помогла ей чем

смогла. Потом война, я ее потеряла. Потом ее гибель.

...Скверно все, ненужно.

27.2.80 г.



Недавно прочла в обывательской книжке... воспоминаний о том, что она (Марина) тоже любила деревья. Я всегда гордилась хотя бы этим сходством с ней.

Я помню ее в годы первой войны и по приезде из Парижа. Все мы виноваты в ее гибели. Кто ей помог? *Никто*.

Она все просила у меня пустые бутылочки от духов. Ей таскала их Гельцер. Она сцарапывала этикетки и говорила: «Теперь и эта бутылочка ушла в вечность».

А. А. часто повторяла о Бальмонте: он стоял в дверях, слушал, слушал чужие речи и говорил: «Зачем я, такой нежный, должен на это смотреть?»

Великая Марина: «Я люблю, чтобы меня хвалили доо-олго».



Весь день лежала в тоске отчаянной. Вечером пошла по просьбе молодой Пешковой к ним на заседание в связи со скорой датой — 80 лет со дня рождения Горького. Маршак, Федин, Всеволод Иванов, художники, музейщики и сама вдова, маленькая старушка. Андреева в параличе. У Пешковых в доме любят Андрееву, а «законную»

терпят и явно не любят. Я люблю бывать в этом доме, люблю Горького.

Похвалила Федина за последний роман, он был рад по-детски. И засиял глазами — у него породистое, красивое лицо.

(Приписка Раневской 1976 года: «Он сволочь».)



Любовь Михайловна Эренбург — жена Эренбурга. У М. Ц. (Марина Цветаева. — Д. Щ.) сохранились с ней хорошие отношения и после расхождения М. Ц. с Эренбургом. М. Ц. писала о ней: «Л. М. — очарование, она птица, и страдающая птица. У нее большое человеческое сердце, но — взятое под запрет. Ее приучили отделяться смехом и поднимать тяжести, от которых кости трещат. Она героиня, но героиня впустую...

Мне ее глубоко, нежно, восхищенно-бесплодно жаль».



Я была летом в Алма-Ате. Мы гуляли по ночам с Эйзенштейном. Горы вокруг. Спросила: «У вас нет такого ощущения, что мы на небе?»

Он сказал: «Да. Когда я был в Швейцарии, то чувствовал то же самое». — «Мы так высоко, что мне Бога хочется схватить за бороду». Он рассмеялся...

Мы были дружны. Эйзенштейна мучило окружение. Его мучили козявки. Очень тяжело быть гением среди козявок.



Дорогой Сергей Михайлович! Ничего не понимаю: получила телеграмму с просьбой приехать на пробу во второй половине мая, ответила согласием, дожидалась вызова, — вступаем во вторую половину июня, — а вызова все нет и нет!

Может быть, Вы меня отлучили от ложа, стола и пробы? Будет мне очень это горестно, т. к. я люблю Вас, Грозного и Ефросинью!

Радуюсь тому, что сценарий Ваш всех восхищает. Жду вестей.

Обнимаю Вас, Раневская.

12.6.42 г.



Дорогой Сергей Михайлович!

«Убить — убьешь, а лучше не найдешь!» Это реплика Василисы Мелентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож!..

Бессердечный мой!..

(Из писем Ф. Раневской С. Эйзенштейну)



48 г. 9 января. Встретила Корнея Чуковского. Шли по Тверскому. Меня осаждали как всегда теперь ненавистные, надоевшие школьники. Чуковский удивился моей популярности. Я сказала ему, что этим ограничивается моя слава — «улицей», а начальство не признает. Все, как полагается в таких случаях.



Чуковский рассказал, как однажды к Леониду Андрееву шла на свидание дама. Свидание было где-то на мосту, в Петербурге, и, конечно, тайное, т. к. дама была замужем. Андреев в то время входил в славу, за ним гонялись хроникеры-киношники, которые и засняли на пленку это свидание.

Рассказывал Чуковский интересно о Некрасове, читал его чудесные стихи, но не хрестоматийные, а настоящие, есть блоковские строчки, — рассказывал о любовных историях, страстях, картах, поездке за границу вслед за француженкой, которую любил, игра на бирже и прочее — прелесть этот Некрасов.



...Сегодня была у Щепкиной-Куперник, которая рассказывала о корректоре, переделавшем фразу «на камне стояли Марс и Венера» в «МАРКС и Венера».

Она же говорила, что Ермолова была так равнодушна к деталям, что, играя Юдифь в «Уриеле Акоста», не снимала нательного креста. И никто не замечал этого, хотя крест был виден. Не замечали — так играла Ермолова!

48 год, 26 ноября



А. Я. Закутняк рассказывал мне, что во время гастролей Комиссаржевской в Америке, где она играла «Дикарку», зрители время от време-

ни дико вопили и неистово хлопали. Хохот, крики и аплодисменты неслись то с правой стороны зрительного зала, то с левой. Актеры были ошеломлены. В. Ф. (Вера Федоровна Комиссаржевская. — Д. Щ.) была в отчаянии.

Выяснилось, что зрители держали пари. Заключалось оно в том, что актриса подойдет к стогу сена по правой стороне сцены. Выигравшие ликовали. Когда же она отходила к противоположной стороне — ликование было еще неистовей. И так в течение всего спектакля. В ход шли большие пачки долларов. Вера Федоровна играла в полуобморочном состоянии. Интерес к ней американцев был вызван тем, что она графиня по мужу.



«...В искусстве путь всегда идет вверх, по раскаленной лестнице, но к небу». Андерсен.

«Невинные души сразу узнают друг друга». Андерсен.

Не помню, когда записала это. Сейчас я ползаю в луже грязной, смрадной. Играю, как любительница в клубе. Не могу я больше играть «Лисички».

47 год, декабрь



Есть люди, хорошо знающие, «что к чему». В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи. Такой «вождь с отмычкой» сейчас Охлопков. Талантливый как дьявол и циничный до беспредельности.

Кто бы знал мое одиночество! Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной.

Но ведь зрители действительно любят? В чем же дело? Почему так тяжело в театре?

В кино тоже Гангстеры и самый из них матерый — неожиданно (зачеркнуто. — Д. Ш.).

Май 48 год



«Хеська (Хеся Лакшина, жена Эраста Гарина, близкая подруга Раневской. — Д. Ш.) сказала сейчас упавшим голосом, что разрешено снимать картины 16 режиссерам, она не попадает в это число, ни она, ни Гарин.

Кто же они?

Александров — 1

Ромм Мих. — 2

Пырьев — 3

Довженко — 4

Пудовкин — 5

Райзман — 6

Луков — 7

Роом Абрам — 8

Донской — 9

Юткевич — 10

Савченко — 11

Васильев — 12

Эрмлер — 13

Козинцев — 14

Трауберг — 15

неразб.»



Погиб Соломон Михайлович Михоэлс. Не знаю человека умнее, блистательнее его. Очень его любила, он был мне как-то нужен, необходим.

Однажды я сказала ему: «Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только... глисты... В вас живет Бог!» Он улыбнулся и ответил: «Если во мне живет Бог, то он в меня сослан».

48 год, 14 января



Играю скверно, смотрит Комитет по Сталинским премиям. Отвратительное ощущение экзамена.

После спектакля дома терзаюсь. В два часа ночи звонок телефона: «Дорогая, простите, что так поздно звоню, но ведь Вы не спите. Вы себя мучаете. Ей-богу, Вы хорошо играли. Спите, перестаньте мучиться. Вы хорошо играли, и всем понравилось». Это была неправда. Но кто, кроме Михоэлса, мог так поступить? Никто, никто не мог пожалеть так.

Он вернулся из Америки уставший, больной. Я навестила его, он лежал в постели, рассказывал мне ужасы из «Черной книги». Страдал, говоря это. Чтобы чем-то отвлечь его от этой страшной темы одного из кругов, не рассказанных Данте, я спросила: «Что вы привезли из Америки?»

«Мышей белых жене для научной работы...»

«А себе?»

«А себе кепку, в которой уехал в Америку».

Мой дорогой, мой неповторимый.



...Соломон Михайлович, Корнейчук и я. Ужин в гостинице, в Киеве. Ужин затянулся до рассвета. Любуюсь Михоэлсом. Он шутит, смешит, вдруг он делается печальным. Я испытываю чувства влюбленной, я не отрываю глаз от его чудесного лица.

Уставшая девушка-подавальщица приносит очередное что-то вкусное. Михоэлс расплачивается и дарит подавальщице 100 рублей. В то время, перед войной, большие деньги. Я с удивлением смотрю на С. М. Он шепчет, наклонившись ко мне: «Знаете, дорогая, пусть она думает, что я сумасшедший». Я говорю: «Боже мой, как я люблю вас...»

...Гибель Михоэлса — после смерти моего брата — самое большое горе, самое страшное в моей жизни...



ИЗ ПЕРЕПИСКИ С С. М. МИХОЭЛСОМ

Дорогой, любимый Соломон Михайлович!

Очень огорчает Ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы Вы скорее оправились от болезни, мне знакомой.

Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как Вы, но Ваше великодушие и человечность побуждают в подобных случаях обращаться именно к Вам.

Текст обращения, данный Я. Л. Леонтьевым, отдала Вашему секретарю, но я не уверена, что

это именно тот текст, который нужен, чтобы пронять бездушного и малокультурного адресата!

Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна (Булгакова. — Д. Ш.), не испытывала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков.

Может быть, Вы найдете нужным перередактировать текст обращения. Нужна подпись. Ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова.

Мечтаю о дне, когда смогу Вас увидеть, услышать, хотя и боюсь Вам докучать моей любовью.

Обнимаю Вас и милую Анастасию Павловну.

Душевно Ваша Раневская.

1944



Вчера была у меня вдова Михоэлса (Анастасия Павловна Потоцкая), мне хотелось ей что-то дать от себя, а было такое чувство, что я не только ей ничего не могу дать, а еще и обираю ее.

28 февраля 48 г.



Ф. Г. РАНЕВСКАЯ — А. П. ПОТОЦКОЙ

(вдове С. М. Михоэлса)

Дорогая Анастасия Павловна!

Мне захотелось отдать Вам то, что я записала и что собиралась сказать в ВТО на вечере в связи с 75-летием Соломона Михайловича.

Волнение и глупая застенчивость помешали мне выступить. И сейчас мне очень жаль, что я не сказала, хотя и без меня было сказано о Соломоне Михайловиче много нужного и хорошего для тех, кому не выпало счастья видеть его и слушать его.

В театре, который теперь носит имя Маяковского, мне довелось играть роль в пьесе Файко «Капитан Костров», роль, которую, как я теперь вспоминаю, я играла без особого удовольствия, но, когда мне сказали, что в театре Соломон Михайлович, я похолодела от страха, я все перезабыла, я думала только о том, что Великий Мастер, актер-мыслитель, наша совесть Соломон Михайлович смотрит на меня.

Придя домой, я вспомнила с отчаянием, с тоской все сцены, где я особенно плохо играла.

В два часа ночи зазвонил телефон. Соломон Михайлович извинился за поздний звонок и сказал: «Вы ведь все равно не спите и, наверное, мучаетесь недовольством собой, а я мучаюсь из-за вас. Перестаньте терзать себя, вы совсем неплохо играли, поверьте мне, дорогая, совсем неплохо. Ложитесь спать и спите спокойно — совсем неплохо играли».

А я подумала, какое это имеет значение — провалила я роль или нет, если рядом добрый друг, человек — Михоэлс.

Я перебираю в памяти всех людей театра, с которыми сталкивала меня жизнь, нет, никто так больше и никогда так не поступал.

Его скромная жизнь с одним непрерывно гудящим лифтом за стеной.

Он сказал мне: «Знаете, я получил письмо с угрозой меня убить». Герцен говорил, что частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям. Когда я думаю о Соломоне Михайловиче, мне неизменно приходит на ум это точное определение, которое можно отнести к любому художнику. Его жилище — одна комната без солнца, за стеной гудит лифт и денно и нощно.

Я спросила Соломона Михайловича, не мешает ли ему гудящий лифт. Смысл его ответа был в том, что это самое меньшее зло в жизни человека.

Я навестила его, когда он вернулся из Америки. Он был нездоров, лежал в постели, рассказывал о прочитанных документах с изложением зверств фашистских чудовищ.

Он был озабочен, печален. Я спросила о Чаплине. «Чаплина в Америке затравили», — сказал Соломон Михайлович. В одном из баров ему, Соломону Михайловичу, предложили выпить коктейль под названием «Чаплин». Коктейль оказался пеной. Даже так мстили Чаплину за его антифашистские выступления.

Я спросила Соломона Михайловича, что он привез из Америки. «Жене привез подопытных мышей для научной работы». А себе? «Себе кепку, в которой уехал в Америку».



Однажды после какого-то убогого кутежа в ВТО мы возвращались на рассвете с компанией, в которой был Алексей Толстой, шли по Твер-

скому бульвару, и Толстой стал просить и хныкать, чтобы его пустили к Михоэлсу. «Пойдем к Соломону», — умолял он Людмилу, но она не пустила.



Они — Толстой и Михоэлс — дружили и очень друг друга любили...

...Вчера была Людмила Толстая, вспоминали Алексея Николаевича. Людмила жаловалась на полное одиночество. Я уговаривала ее купить собаку.

Однажды Толстой сказал, что у меня терпкий талант.

Я спросила — почему терпкий?

Он объяснил: «Впивается как запах скипида-ра...»

Последнюю встречу с ним не забуду. Он остановил меня на улице, на Малой Никитской. Я не сразу его узнала, догадалась — это Толстой. Щеки обвисли, он пожелтел, глаза были тоже не его. Он сказал: «Я вышел из машины, не могу быть в машине — там пахнет. И от меня пахнет, понюхайте...»

Я сказала, что от него пахнет духами.

А он продолжал говорить: «Пахнет, пахнет, всюду пахнет».

Машина стояла рядом, он не хотел в нее садиться. Я предложила проводить его до дому. Взяла его под руку. По дороге он просил меня запомнить и сказать всем, что с фашистами нельзя жить на одной планете, что их надо поселить к термитам, чтоб термиты ими питались или же чтобы фашисты питались термитами.

Его нельзя было вводить в состав комиссии, которая изучала все злодеяния фашистов. Нельзя было.

Вскоре после этой последней с ним встречи его не стало.

Я его очень любила. Играла в его пьесе «Чудеса в решете» роль проститутки. Играла где-то в провинции. Пьеса из времен нэпа. Талантливая, забавная была комедия. Я любила роль, играла ее с наслаждением — всегда жалела женщин этой чудовищной профессии. Играла ее доброй, наивной, чистой. Ему нравился мой рассказ о том, как я решила образ этой несчастной.

Нельзя, нельзя было заставить его смотреть на то, чего нельзя вынести, после чего нельзя жить. Это зрелище убило его, прикончило...



Ромм... До чего же он талантлив, он всех талантливей. Он очень болен, издерган, сказал, что его в инфаркт загнал Никита Сергеевич...



Помню, как, однажды захворав, я попала в больницу, где находился Михаил Ильич Ромм. Увидев его, я глубоко опечалилась, поняла, что он болен. Серьезно. Был он мрачен, помню его слова, что человек не может жить после увиденного неимоверного количества метров пленки о зверствах фашистов.

Там же, в больнице, я получала от него записки, которые отдала на сохранение в ЦГАЛИ. Там, в архиве, дорогие мне его строчки останутся в сохранности.

Очевидно, чтобы позабавить меня, в одной записке было сказано: «Я вас люблю, увидимся в палате».

Мой дорогой, я вас тоже люблю, восхищаюсь вами, художником и человеком. С той же нежностью и интересом относилась к его спутнице Елене Кузьминой. Впервые увидела ее в немом фильме.

...Утрату этих двух друзей несу как тяжелое личное горе.

...Да, вот... Он (Ромм. — *Д. Ш.*) мне сказал:

«Дайте мне слово, что вы не посмотрите... Вы добрая, дайте мне слово, что вы не будете смотреть мой фильм «Обыкновенный фашизм», хотя там и сохой доли нет того, что делали эти нечеловеки».



Была в гостях у Надежды Андреевны (Обуховой. — *Д. Ш.*). Она мне пела много, долго, а в клетках вопили птички, ей это не мешало, — потом мы ужинали, потом она рассказала, что получила письмо от ссыльного, он писал: «Сейчас вбежал урка и крикнул: «Интеллигент, бежи скорей с барака, Надька жизни даеть», это по радио передавали Обухову. Сказала, потом загрустила, потом мы пили водочку, я забыла попросить подписать фото.



Очень любила я дорогого Николая Васильевича Петрова. Вспоминаю с особой нежностью работу с ним. Мне было легко, радостно, весело. Любила его за самое дорогое в человеке и особенно в характере режиссера — доброту, доброжелательство. Любила его за чуткое отношение к актерам, людям, как известно, легкоранимым. К огорчению моему, мы с Николаем Васильевичем встретились только дважды в работе. Первая совместная работа была над инсценировкой «Игрока» Достоевского. Он мне очень помогал тем, что верил мне, верил, что бабуленька у меня получится, сердился на мою трусость, бранил меня за то, что не верила себе. Все его замечания, указания, советы помогали. Роды были легкие, роль я полюбила и, вопреки обыкновению, на репетиции с ним ходила, как на праздник.

Вторая встреча была в спектакле «Изгнание блудного беса», где мы в содружестве с Борисом Чирковым изображали мракобесов в талантливой пьесе Алексея Толстого.

Николай Васильевич стремился к тому, чтобы роль моя была более яркой, и потому предложил мне прыгать, убеждая меня в том, что моя героиня — сектантка из секты прыгунов. Все указания и предложения мне очень нравились, я охотно их принимала и прыгала к большому удовольствию режиссера и зрителей. Николай Васильевич сказал, что это смешно и страшно.

Вспоминается, как на гастролях театра, рано утром, ко мне вбежал Николай Васильевич, —

мы жили в одном отеле, я удивилась, увидя его в пижаме. Он сказал, что так ко мне спешил, что не успел переодеться. Принес мне рукопись с просьбой скорее с ней ознакомиться, т. к. ему интересно было мое впечатление о первой части книги, которую он писал. Я тут же с величайшим интересом и волнением прочла не отрываясь то, что он впоследствии мне подарил с надписью:

«Дорогая Фаина Георгиевна! Вы были первым человеком, который прочел первую часть этой книги, и благословили меня на дальнейшее. Наказ Ваш, как видите, выполнил, и теперь пеняйте на себя, Вам придется прочитать до конца, а когда прочтете, напишите мне, — что это такое?

*Горячо любящий Вас
Николай Петров»*



Известие о кончине Василия Васильевича Меркурьева было для меня тяжелым горем. Встретились мы с ним в работе только один раз в фильме «Золушка», где он играл моего кроткого, доброго мужа. Общение с ним — партнером — было огромной радостью. Такую же радость я испытала, узнав его как человека. Было в нем все то, что мне дорого в людях, — доброта, скромность, деликатность. Полюбила его сразу крепко и нежно. Огорчалась тем, что не приходилось с ним снова вместе работать. Испытываю глубокую душевную боль от того, что из жизни ушел на редкость хороший человек, на редкость хороший большой актер.



Осип Наумович Абдулов уговорил меня выступать с ним на эстраде. С этой целью мы инсценировали рассказ Чехова «Драма». Это наше совместное выступление в концертах пользовалось большим успехом.

Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров. Когда не стало О. Н., я скоро прекратила выступать в этой роли. Успеха больше не было.

Мне посчастливилось часто видеть его в домашней обстановке. Обаяние его личности покорило меня. Он любил шутку. Шутил непринужденно, легко, не стараясь рассмешить. За долгую мою жизнь я не помню никого, кто бы мог без малейшего усилия шуткой привести в радостное, хорошее настроение опечаленного друга.

Как актер, он обладал громадным чувством национального характера. Когда играл серба — был подлинным сербом («Министерша»), подлинным англичанином («Ученик дьявола»), подлинным французом («Школа неплательщиков»), подлинным греком («Свадьба» Чехова).

Вспоминаю его великолепное исполнение роли Лыняева в спектакле «Волки и овцы», Сорина в чеховской «Чайке». Эта работа особенно взволновала меня. Какая глубокая печаль уходящего, никому не нужного старика была показана им в этой роли! С какой мягкостью и вдохновением он ее играл!

Я часто сердилась на Осипа Наумовича за то, что он непосильно много работает, не щадит

себя. Он на все мои нападки неизменно отвечал: «В этом смысл моей жизни».

Однажды после окончания ночной съемки в фильме «Свадьба», где он чудесно играл грека, нам объявили, что машины не будет и что нам придется добираться домой пешком. Осип Наумович сердился, протестовал, но, тут же успокоившись, решил отправиться домой как был: в гриме, с черными усами и бровями, в черном парике и турецкой феске. По дороге он рассказывал мне какую-то историю от лица своего грека, на языке, тут же им придуманном. Свирепо вращал глазами, отчаянно жестикулировал, невольно пугая идущих на рынок домашних хозяек. Это была не только озорная шутка, это было творчество, неумный темперамент, щедрость истинного таланта. И это — после трудной ночной съемки.

Наша прогулка продолжалась бы дольше, если бы изумленный нашим видом милиционер категорически не потребовал, чтобы мы немедленно шли домой.

Возвращаясь со спектакля в гастрольных поездках по Союзу и за рубеж, мы обычно ужинали у меня в номере гостиницы. И даже после ухода О. Н. к себе, вспоминая его рассказы, я, оставшись одна, еще долго хохотала, как филин в ночи, чем приводила в недоумение дежурного коридорного.

Осип Наумович шутил, уверяя меня, что наши ночные беседы его «скомпрометировали», и будто он даже слышал, как дежурная горничная сокрушалась, что у него старая жена!..

Отказывать он не умел, был уступчив, без тени зазнайства. Куда бы нас ни звали выступать в сборных концертах, охотно давал согласие, а потом с виноватым видом говорил: «Дорогая, еще два шефских концерта, только два» — и мы мчались куда-то очень далеко. Я сердилась, жаловалась на усталость, он утешал меня тем, что это «полезная» усталость.

Помнится, в день спектакля режиссер попросил его заменить внезапно заболевшего актера. Было это на гастролях во Львове, стояла нестерпимая жара. Мы поехали в парк; там, укрывшись в тени, он читал роль, боясь, что не успеет ее выучить к вечеру. Я подавала реплики. Волнуясь, как школьник перед экзаменом, он говорил текст роли, стараясь его запомнить. Глаза у него были детскими, испуганными, а ведь он был прославленным актером! Сыграл он экспромтом, сыграл превосходно, только утром жаловался на сердце, которое всю ночь болело. И сколько подобного было в его жизни!

С особенно нежной любовью он говорил о Ростиславе Плятте, восхищался его талантливостью. Я вообще заметила, что талант всегда тянется к таланту и только посредственность остается равнодушной, а иногда даже враждебной к таланту.



Осип Абдулов сказал, что, если бы я читала просто по радио, вещая в эфир, а не по пластинке, я бы так заикалась и так бы все перепутала, что меня бы в тот же вечер выслали в город «Мочегонск».



Больше сорока лет прошло, а я слышу — «не целуйтесь, меня тошнит». Это пьяненький Лариосик — Яншин. В те дни в него влюбилась вся театральная Москва в спектакле «Дни Турбиных». Потом мы с ним крепко подружились.

Любила его слушать. Актер был редкостно талантливый, и слушать его было интересно. Рассказывал мне, как однажды на репетиции отказался следовать указанию Станиславского, потому что не согласился с его решением куска.

Станиславский опешил. Сказал: «Репетиция окончена» — и вышел. Яншин испугался, актеры на него накинулись, хотели отколотить. Яншин убежал домой, плакал, проклинал себя. Наутро его позвали к телефону. Яншин понял — его увольняют. К телефону подошел К. С. и сказал: «Я долго думал, почему вы не захотели следовать моему указанию, в чем была моя ошибка, и понял, что вы были правы».

Говоря это, Яншин заплакал. Заплакала и я от любви к К. С.

75 год



Как-то давно смотрела фильм, название которого не помню («Закройщик из Торжка». — Д. Щ.). Но по сей день мне видятся лицо, глаза прелестной девушки с гусем в руках, она с восхищением рассматривает незнакомую ей улицу. Все ее удивляло, забавляло.

Я подумала, любуясь ею, о том, что у нас появилась редкостно талантливая, обаятельная актриса. Увидев знакомого режиссера, спросила: «Что это за прелесть с гусем?» И впервые услышала имя, ставшее дорогим всем нам. Имя недавно ушедшей от нас Веры Петровны Марецкой.

Меня связывает с ней многолетняя дружба. Я полюбила ее редкостное дарование, ее человеческую прелесть, юмор, озорство. Все в ней было гармонично, пленительно. Я никогда не скучала с ней.

Тяжело мне об этом и думать и говорить. И Вера меня любила и называла: «Глыба!» Если бы я могла в это верить!

Нет, я знала актрис лучше Раневской.



Любовь Орлова! Да, она была Любовью зрителей, она была любовью всех, кто с ней общался. Мне посчастливилось работать с ней в кино и в театре. Помню, какой радостью было для меня ее партнерство, с какой чуткостью воспринимала она своих партнеров, с каким доброжелательством! Она была нежно и крепко любима не только зрителями, но и всеми нами, актерами. С таким же теплом к ней относились и гримеры, и костюмеры, и рабочие, весь технический персонал театра. Ее уход из жизни был тяжким горем для всех знавших ее.

Любочка Орлова дарила меня своей дружбой. И по сей день я очень тоскую по дорогой моей

подруге и любимом товарище, прелестной артистке.

За мою более чем полувековую жизнь в театре ни к кому из коллег я не была так дружески привязана, как к дорогой, доброй Любочке Орловой. ...Сказать про Любочку, что она добрая, все равно, что сказать про Толстого — «писатель не без способностей». ...Но когда я думаю об отношении ко мне Любочки, меня душит горе, в горле слезы. Я понимаю, что меня никогда не любили для меня самой, — никто и никогда. Ее жалость не унижает. Жалость — это счастье материнской любви.



...Не окажись он (Г. В. Александров. — Д. Ш.) рядом с Любой, еще неизвестно, как бы сложилась ее творческая судьба. Однажды на даче у них заговорили об этом. Люба положила руку на руку мужа и сказала: «Спасибо вам, Гриша (они всегда на людях были на «вы»), за всю мою жизнь».

И вдруг Александров смутился: «Да что вы? — Он поцеловал ее руку. — Это я должен благодарить вас за всю мою и нашу жизнь». Я не выдержала и заплакала от радости, что так близко и так явственно вижу счастье двух талантов, созданных друг для друга. Очень, очень редко так бывает. Ну, с кем еще случилось такое? Разве что Таиров и Алиса Коонен, Елена Кузьмина и Михаил Ромм. Кому еще выпало подобное?

О себе могу сказать, что не была бы известной вам Раневской, если бы в начале моего

пути я не обрела друга — замечательную актрису и театрального педагога Павлу Леонтьевну Вульф...

(Ардамацкий В. Разговоры о Раневской // Театр. 1980. № 6)



«Мой первый друг, мой друг бесценный» Павла Леонтьевна Вульф. Мой педагог. Учила меня всему тому, что узнала от своих учителей Владимира Николаевича Давыдова и Веры Федоровны Комиссаржевской. Она была неповторимой актрисой, замечательным человеком.



Если я стала понимать, как вести себя на сцене, — я обязана этим только Павле Леонтьевне Вульф, она научила меня основам основ, этике поведения актера.

...Павла Леонтьевна — имя это для меня свято. Только ей я обязана тем, что стала актрисой. В трудную минуту я обратилась к ней за помощью, как и многие знавшие ее доброту. Павла Леонтьевна нашла меня способной и стала со мной работать. Она научила меня тому, что ей преподавал ее великий учитель Давыдов и очень любившая ее Комиссаржевская.

За мою долгую жизнь в театре я не встречала актрисы подобной Павле Леонтьевне, не встречала человека подобного ей. Требовательная к себе, снисходительная к другим, она была любима своими актерами как никто, она была лю-

бима зрителями так же, как никто из актеров-современников. Я была свидетельницей ее славы. Ее успеха. Скромность ее была удивительна. Она старалась быть в тени. Не было в ней ничего от «премьерши». Мне посчастливилось не только видеть ее изумительное искусство, но даже играть с ней, это были самые радостные дни моей жизни.

П.Л. стремилась помочь даже тем, кто к ней не обращался за помощью. Она отдавала лучшие свои роли актрисам, занимаясь с ними. По моим наблюдениям, обычно стареющие актрисы действовали обратно, крепко держась за свои любимые роли. Ничего подобного не было в благородной натуре Павлы Леонтьевны...



Ф. Г. РАНЕВСКАЯ — П. Л. ВУЛЬФ. 25 ИЮНЯ 1950 г.

Мамочка, попробую тебе объяснить, почему я в таком раскисшем состоянии и подавленности. Я не выходила на сцену 8 месяцев, и вот, когда я вылезла с сырой, не сделанной, не проверенной и не готовой ролью, да к тому же еще ролью, которая чужда и противна, я растерялась, испугалась, вся тряслась, забыла, путала текст и в итоге испытала что-то вроде нервного шока, потрясения.

На премьере, ввиду всего вышесказанного, был полный провал. На втором спектакле я расшиблась и на третьем еле двигалась, потом я уже разыгрывалась, но все же продолжала играть пло-

хо. Пойми — я не бытовая актриса, быт мне не дано играть, не умею. Я перевела роль в план реалистической буффонады, но это неверно, а м. б. роль так незначительна, что не только я, но и Савина из нее ничего бы не сделала. Была пресса на одном из спектаклей, но успеха не было. Я знаю, что им ни спектакль, ни я не понравились. Среди критиков была и Беньяш, которая ко мне зашла за кулисы и сказала, что более бесполезного спектакля в режиссерском плане, более бесталанного и тусклого и неумного она давно не видела. А мне сказала: «А вы в Москве не играйте». Я была потрясена, когда она мне звонила. Я к телефону не подошла, тогда она мне написала письмо, которое можешь прочесть. Успех же мой объяснила неизменной для меня любовью зрителя, но у публики в этой роли я успеха не имела, как обычно. Письмо Беньяш исчерпывающе. Она очень понимает. Я знаю, что ты ее терпеть не можешь, но это не умаляет ее достоинств. Я в отчаянии. Не знаю, как будет дальше. Они обрадовались, что зарабатывают на мне огромные деньги. Аншлаги делала только «Модная лавка». Я для них «лакомый кусочек».

А творческой работы в этом страшном «торговом доме» не могут мне дать...



4—7.58 г.

Дорогая моя мамуля!

У меня было впечатление от сегодняшней репетиции как от чего-то безнадежно и непоп-

равимо кошмарного. Обычно режиссер будит фантазию, горячит кровь, наталкивает на интересные решения, подсказывает интересные задачи, а тут надо тащить на себе груз режиссерского скудоумия, скуки, уныния, сонной болезни.

10-го — скандал, собрание, оскорбления.



25—6.60 г. (на открытке с изображением Ван Клиберна)

Мамочка, золотиночка, нет под рукой бумаги, потому пишу на Ванечке. Все мои мысли, вся душа с тобой, а телом буду к 1 июля. Отпускают делать зубы, 15 июля опять съемка, пересъемка, т. е. продолжение кошмара, забот накопилось много. Белка переслал письмо брата. Скоро обниму тебя, мою родную, дорогую.

Не унывай, не приходи в отчаяние.



...Дорогой Раббик, узнала, что Вы нездоровы. Мечтаю о Вашем приезде в Москву, хочется быть с Вами... Пожалуйста, не хворайте. Хотела написать большое письмо, хотела порассказать о себе, о том, как мне теперь одиноко, как обесмыслилась моя жизнь...

...Раббинька, я уже не курю, а без папиросы не могу связать двух слов. Крепко обнимаю.

*(Из письма Ф. Раневской А. Ахматовой
после смерти П. Вульф)*



...Теперь, в конце жизни, я поняла, каким счастьем была для меня встреча с моей незабвенной Павлой Леонтьевной. Я бы не стала актрисой без ее помощи. Она истребила во мне все, что могло помешать тому, чем я стала. Никаких ночных бдений с актерской братией, никаких сборищ с вином, анекдотами и блудом. Она научила радоваться природе — «клеяким листочкам». Научила слушать и понимать лучшую музыку. В музеях мы смотрели то, что создавало для меня смысл бытия.

Она внушила страсть к Пушкину. Запретила читать просто книги, а дала познать лучшее в мировой литературе.

Она умерла у меня на руках.

Теперь мне кажется, что я осталась одна на всей планете.



Август, Болшево, 1952 г. «Пойдем посмотрим, как плавают уточки», — говорила она мне, и мы сидели и смотрели на воду, я читала ей Флобера, но она смотрела с тоской на воду и не слушала меня. Я потом поняла, что она прощалась с уточками и с деревьями, с жизнью. Как я тоскую по ней, по моей доброй умнице Павле Леонтьевне. Как мне тошно без тебя, как не нужна мне жизнь без тебя, как жаль тебя, несчастную мою сестру.

«Серое небо одноцветностью своей нежит сердце, лишённое надежд». Флобер.

Вот потому-то я и люблю осень.

Умерла Павла Леонтьевна в 63 году, сестра в 64-м.

78 год, а ничего не изменилось. Тоска, смертная тоска!..



...Не сплю ночи, целые ночи напролет не сплю. Тоскую смертно по Павле Леонтьевне. Если бы я писала что-то вроде воспоминаний, была бы горестная книжка.

В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части. В жизни меня любила только П. Л.

П. Л. скончалась в муках. А я все еще живу, мучаюсь, как в аду.



Перечитываю Толстого, наслаждаюсь, как только можно наслаждаться им. И вдруг так остро, так мучительно захотелось к Павле Леонтьевне на Хорошевское шоссе, где больше ее нет, где нет и дома, в котором она жила. Дом сломан. Хотелось ей читать, ее угостить чем-либо вкусным, рассказать смешное, она любила смешное.

Толстой сказал, что смерти нет, а есть любовь и память сердца. Память сердца так мучительна, лучше бы ее не было... Лучше бы память навсегда убить.



...Сначала бессонница, потом приходит сон, когда просыпается дом и дети сбегают с лестницы, торопятся в школу.

Боюсь сна... боюсь снов...

Вот вошла в черном Ахматова, худая, — я не удивилась, не испугалась. Спрашивает меня: «Что было после моей смерти?» Я подумала, а стоит ли ей говорить о стихах Евтушенко «Памяти Ахматовой»... Решила не говорить.

66 год, декабрь



...Сегодня мне приснилось, что я звоню по телефону, разыскиваю Павлу Леонтьевну. Кто-то ответил в трубку что-то невнятное, и вдруг я явственно услышала ее голос, она сказала: «Кто-то зовет меня к телефону», и тут нас разъединили. Я увидела ее — маленькая, черная, она жаловалась, что ей холодно, просила прикрыть ей ноги пледом в могиле.

Как я всегда боялась того, что случилось: боялась пережить ее.

...Приходила Норочка Полонская, добрая душа, я хотела рассказать ей сон — и постеснялась. Потом пришла И. (И. Вульф. — Д. Щ.), которая когда-то мне сказала, что не любит, когда ей пересказывают сны.

И я вспомнила, что недавно думала и твердо знаю, что ничего так не дает понять и ощутить своего одиночества, как то, когда некому рассказать сон.



В Большом театре, когда танцевала Уланова, ко мне подошел Рихтер, я сидела в партере.

«Знаете, что я о вас думаю? Эта женщина что-то понимает», — сказал он.



Я попросила его показать мне руки. Он ответил что-то вроде: «Руки здесь ни при чем». Обо-жает Вагнера. Холоден к Рахманинову.

Всю ночь у Булгаковой. Была Ахматова, еще кто-то. Рихтер играл всю ночь до утра, не отходя от рояля. Я плакала. Это нельзя забыть до конца жизни.



Сейчас слушала «Карнавал» Шумана по радио. Плакала от счастья. Пожалуй, стоить жить, чтобы такое слушать. Поплечусь в театр играть мою чепуху собственного сочинения. Ничего, кроме неловкости и стыда перед публикой, не испытываю за мое творчество в «Законе чести». Хотелось сделать что-то значительное, человеческое, а вышла чепуха, хотя успех некоторый есть.

48 год



Пастер: «Желание — великая вещь, ибо за желанием всегда следуют действие и труд, почти всегда сопровождаемые успехом».

Что же делать? Что делать, когда надо действовать, надо напрягать нечеловеческие усилия без желания, а напротив, играя с отвращением непреодолимым, — почти все, над чем я тружусь всю мою жизнь?



...Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой «славе» гнездится то самое одиночество, которого не знает любая уборщица в театре. Это происходит оттого, что человека, пользующегося известностью, считают счастливым, удовлетворенным, а в действительности все наоборот. Любовь зрителя несет в себе какую-то жестокость. Я помню, как мне приходилось играть тяжелобольной, потому что зритель требовал, чтобы играла именно я. Когда в кассе говорили: «Она больна», публика отвечала: «А нам какое дело. Мы хотим ее видеть. И платили деньги, чтобы ее посмотреть». А мне писали дерзкие записки: «Это безобразие! Что это Вы вздумали болеть, когда мы так хотим Вас увидеть». Ей-богу, говорю сущую правду. И однажды после спектакля, когда меня заставили играть «по требованию публики» очень больную, я раз и навсегда возненавидела свою «славу».



...Из всего хорошего, сердечного, сказанного мне публикой, самое приятное — сегодня полученное признание. Магазин, куда я хожу за папиросами, был закрыт на обеденный перерыв. Я заглянула в стеклянную дверь. Уборщица мыла пол в пустом зале. Увидев меня, она бросилась открывать двери со словами: «Как же вас не пустить, когда, глядя на вас в кино, забываешь свое горе. Те, которые побогаче, могут увидеть что-

нибудь и получше вас (!!!), а для нас, бедных, для народа — вы самая лучшая, самая дорогая...»

Я готова была расцеловать ее за эти слова.

48 год, 22 июня



Я убила в себе червя тщеславия в одно мгновение, когда подумала, что у меня не будет ни славы Чаплина, ни славы Шаляпина, раз у меня нет их гения. И тут же успокоилась. Но когда ругнут — чуть ли не плачу. А похвалят — рада, но не больше, чем вкусному пирожному, не больше.



...Впервые в жизни получила ругательное анонимное письмо, а то я думала, что я такая дуся, что меня все обожают!!!



Очень завидую людям, которые говорят о себе легко и даже с удовольствием. Мне этого не хотелось, не нравилось.



Одесса. 49 год. В Москве можно выйти на улицу одетой, как бог даст, и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение — это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, трамваях, частных домах. Всех огорчает моя чудовищная «скупость» — ибо в бедность никто не верит.



Одесса. Сентябрь 49 года. Завтра уезжаю в Москву с ее холодными, равнодушными знакомыми, влекомая тоскою по моей семье.



Апрель, 50 год. Ленинград. Как всегда в этом неповторимом городе — не сплю. Пасха. Играла в Манеже, который здесь существует для гастролей москвичей. Огромное, унылое, длинное здание, надо орать, пыжиться, трудиться в «поте лица». Играю ужасно, постыдно, плохо, грубо. Роль грубая, плохая и примитивная, как ситцевая баба для чайника. За что мне это? Роли не знаю и не хочу знать. Зубрила, учила, долбила, но память не воспринимает того, что чуждо сердцу. Унижение, конфуз, принимает зал плохо. Разочаровываю зрителя. После спектакля ужин у милой Тани Вечесловой: веселой, талантливой, трагической семнадцатилетней Тани, которой скоро 40 лет. Потом ездила в церковь к заутрене, к службе опоздала, гнилые старухи клянчили подавание, поп давал всем поцеловать крест. Потом обратился к прихожанам: «Православные, крестный ход ориентировочно в 9 утра». Вокруг хулиганы с испитыми синими мордами. Вернулась в гостиницу в пятом часу. В вестибюле драка, кровь, молодая беленькая женщина била мужчину, била неистово, остервенело, сладострастно. Вокруг стояли люди и любовались великолепием зрелища. Колотилось сердце, было

страшно, хотелось плакать. Почему эту молящуюся, дерущуюся сволочь, сброд, подонков никуда не высылают?? В церкви наш спутник — еврей коммунист зажигал свечку спичкой, как папиросу. Верующие сговаривались шепотком сделать нам темную.



Стук в дверь. Утро раннее, очень раннее. Вскрываю в ночной рубахе.

— Кто там?

— Я, Твардовский. Простите...

— Что случилось, Александр Трифонович?

— Откройте.

Открываю.

— Понимаете, дорогая знаменитая соседка, я мог обратиться только к вам. Звоню домой — никто не отвечает. Понял — все на даче. Думаю, как же быть? Вспомнил, этажом ниже — вы. Пойду к ней, она интеллигентная. Только к ней одной в этом доме. Понимаете, мне надо в туалет...

Глаза виноватые, как у напроказившего ребенка.

Потом я кормила его завтраком. И он говорил: почему у друзей все вкуснее, чем дома?

Он бывал у меня. Иногда просил водку. Спрашивал, нет ли у меня водки. Я ему не давала ее.

В гостиной долго смотрел на портрет Ахматовой. Его слова: «Вот — наследница Пушкина!..»



Мы часто встречались у лифта. Александр Трифонович (нетрезвый) пытался открыть лифт, вертя ручку в обратную сторону. Подхожу и вдруг слышу в ответ на мое предложение помочь:

— Может быть, вы приняли меня за Долматовского? Так я не Долматовский.

Я рассмеялась. Твардовский гневно:

— Ничего не вижу смешного.

...А однажды пришел, сказав: «Надел новый костюм. Когда сказал, что иду к вам, жена смеялась».

А у меня было неубрано, плохо было в доме. Прошли годы, а мне и теперь совестно.

И опять у лифта встретились, поздоровались с ним. Он сердито: «Я боялся, что вы меня примете за Долматовского».

Какая мука, какая тоска смертная, когда уходят такие, как Твардовский.



...И еще. Приехал из Италии. «Вы, конечно, начнете сейчас кудахтать: ах, Леонардо, ах, Микеланджело. Нет, дорогая соседка, я застал Италию в трауре. Скончался Папа Римский. Мне сказали, что итальянские коммунисты плакали, узнав о его смерти. Мы с товарищами решили поехать к Ватикану, но не смогли добраться, т. к. толпы народа в трауре стояли на коленях за несколько километров».

И тут он мне сказал:

— Мне перевели энциклику Папы. Ну, какие же у нас дураки, что не напечатали ее.

Сказал это сердито, умиляясь Папе, который призвал братьев и сказал им: «Братья мои, я ничего вам не оставляю, кроме моего благословения, потому что я из этого мира уйду таким же нагим, каким я в него пришел».



В темном подъезде у лифта стоит Твардовский (трезвый).

Я:

— Александр Трифонович, почему вы такой печальный?

Опустив голову, отвечает:

— У меня мама умерла.

И столько в этом было детского, нежного, святого, что я заплакала.

Он благодарно пожал мне руку.

Любила его за аристократизм. Только семьдесят лет с рождения Твардовского. Каким же молодым он покинул нас, крепко, нежно его любящих. Он был мне родным, на редкость родным.

«С УПОЕНИЕМ БИЛА БЫ МОРДЫ ВСЕМ ХАЛТУРЩИКАМ, А ТЕРПЛЮ»

Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунцижки, терплю и буду терпеть до конца дней.

Терплю даже Завадского.



Наплевательство, разгильдяйство, распущенность, неуважение к актеру и зрителю. Это сегодня театр — развал.

В театре сейчас очень трудно совестливой актрисе, и ваша статья мне в утешение. Новой роли у меня нет, а я так люблю рожать. Я в немилости у самодура и кривляки Завадского, который лишает меня работы новой.



Режиссер — обыватель.



Все мешает работе.

Все ждут от того же За-го — дилетанта, болтуна об «искусстве», пигмея с душонкой б... «Директор», все «руководящее» — мелкие жулики.

Господи, помоги мне не сойти с ума в этом клозете!

Стыдно публики. Никого из «деятелей»-коллег ничего не волнует. Кончаю мое существование на помойке, т. е. в театре Завадского.

Руководство! В театре небывалое нечто, даже для этого заведения. Грязь, шум, «артисты», «артистки»...



Я никогда не испытывала того, что называется «травля». Видимо, это и есть то самое. Людей, самых различных по своей натуре, вкусам и воспитанию, можно легко спаять, крикнув им: «Куси!» И тогда начинается то, что так любят охотники. У всякого человека, тем более актера, есть в его среде недоброжелатели, мелкие завистники, а когда это все собирается воедино, подогреваемое начальством, — тут надо устоять одной против всех. Трудно это с грудной жабой в 60 лет. Молю об одном: «Господи, дай мне силы!»

Вновь вспоминаю точные слова Ларошфуко: «Мы не любим тех, кем восхищаемся».

Недавно перечитывала «Осуждение Паганини». Какой ерундой все это представляется рядом с травлей этого гения.

Свердловск. Август 1955 года



Пишу это письмо, не зная, кому его адресовать, так как это никому и не надо и неинтересно. Пишу, наверное, для того, чтобы не сойти с

ума в одиночестве. Когда после долгих и мучительных колебаний и опасений ехать на Урал я все же решила поехать, первый человек, которого я встретила на вокзале, был Завадский. Он удивился, увидев меня, и спросил: «Зачем вы едете, ведь у вас бюллетень?». Я ответила, что еду, чтобы не сорвать «Сомовых», так как у меня нет дублерши, и что Ирина Вульф очень не хочет никого вводить, опасаясь ослабить спектакль, — как она мне сказала. Моей ошибкой было то, что я тут же не вернулась с вокзала. Я добавила, что еду с тем, чтобы репетировать «Министершу». В Челябинске репетиций не было: Завадский уезжал в Москву. Первая репетиция была 6-го числа в Свердловске. С первой же репетиции, которую провел Завадский, было ясно и многим другим, что работать со мной он не хочет. Относился ко мне в процессе так называемой работы скучающе-снисходительно рисовал, томился, предупреждал меня, что я роли не доиграю до конца, предлагал мизансцены, которые ни один нормальный актер принять не может. К примеру: сесть на пол мимо стула и оставаться всю сцену на полу на карачках и в такой позе вести диалоги. Больше ничего не предложил, скучал, рисовал — вокруг все репетировали, все игравшие давали советы, указания.

(Приписка Раневской 1976 года: «...Без содрогания не могу вспомнить этой «репетиции». Я ушла из театра. То, к чему он и стремился».)

Атмосфера была мучительная, не творчество, что-то от самодеятельности. В зал репетиционный входили и выходили, разговаривали, меша-

ли. Я понимала, что в таких условиях не охватить огромной, труднейшей роли. Сидели на первом акте, перевод последующих актов не был готов.



13-го. Дикая боль в сердце.



19-го. Был спазм в сердце и мозговых сосудах, боль была такая невыносимая, что я кричала. Давление подскочило небывало: 165.

Двое суток держался спазм. Было много докторов — «укротителей».

Спазмы сердца и в голове начались после того, как я узнала, что обо мне было собрание, на которое меня не позвали, чтобы я не могла оправдаться во всех взваленных на меня обвинениях. Приходил Оленин, мучил несколько часов нотациями, потом приходил Мордвинов и тоже мучил упреками в заносчивости, зазнайстве, в том, что я завладела машиной, лучшей гостиницей, что меня встречают аплодисментами, что я всегда лезла вперед фотографироваться, что во Львове я вышла на одно собрание, где меня вызывали в президиум, на аплодисменты, относящиеся к Сталину, чтобы своим появлением сделать вид, что аплодисменты относились ко мне...



20.7.55 г.

Несколько дней до скандала на репетиции «Министерши» в театре шли разговоры о предстоящем производственном совещании, которое

откладывала дирекция и парторганизация по разным причинам, одна из которых была недомога-ние С. Насколько мне известно, «недомогание» заключалось в том, что С. беспробудно пьянствовал, запершись у себя в номере. Я слышала о недовольстве рабочих сцены дирекцией и о требованиях рабочих провести производственное совещание, на котором они хотели высказать эти недовольства. И когда на следующий день после скандала на репетиции мне в частном разговоре Михайлов (актер Театра им. Моссовета. — Д. Ш.) сказал о том, что идет на собрание, я была уверена, что собрание это и есть то самое производственное совещание, которого все дожидались. Думала, что на этом собрании будут обсуждать будущее помещение театра и пр. Чувствуя себя физически нездоровой, решила на собрание не ходить. Когда Оленин сказал мне, что собрание было посвящено только мне и все выступления были только обо мне, где мне было предъявлено много обвинений, в частности обвинение дирекции и Завадского в срыве репетиций по выпуску премьеры «Министерши», — я поняла, что не была вызвана на это собрание ни парторганизацией, ни месткомом, ни дирекцией намеренно. Для того чтобы не дать собранию разъяснений по поводу того, как велась работа над этим спектаклем, вернее, как НЕ велось никакой работы главным режиссером, который в период гастролей не вел никаких репетиций и которого я силой заставила репетировать в Свердловске, где было только пять репетиций,

на которых главный режиссер явно высказывал свою незаинтересованность в работе со мной, что меня глубоко огорчило и вызвало во мне чувство раздражения, так как я работала интенсивно и, видя пассивность главного режиссера, была творчески активна, несмотря на сильное недомогание, работала увлеченно, стараясь своей увлеченностью заразить моих партнеров, которые, видя незаинтересованность Завадского, были раздражены и недисциплинированы, что, в свою очередь, углубляло мое раздражение и что в результате явилось поводом к скандалу, который выразился в том, что главный режиссер позволил себе крикнуть мне: «Убирайтесь вон из театра». На что я ответила ему той же фразой. (В другой редакции фраза Раневской звучала: «Вон из искусства!» — Д. Щ.) Не могла иначе прореагировать на оскорбление, нанесенное мне впервые в жизни, к тому же публично и никак не заслуженно. Идя навстречу театру, несмотря на запрещение врачей, я поехала на Урал, где в силу климатических условий чувствовала себя настолько плохо, что врачи настаивали на моем возвращении в Москву, в привычные для меня климатические условия. И все же, преодолевая недомогание, я упорно работала над ролью, играла спектакли и даже в день, когда главный режиссер оскорбил меня, играла, имея полное право не играть по состоянию здоровья. Чувство обязательства по отношению к театру и зрителю заставляло меня остаться до конца гастролей, несмотря на то что руководство театра и партор-

ганизация не нашли нужным вызвать меня на собрание, где я подверглась незаслуженным нападкам руководителей, а также части актеров, недовольных мною по тем или иным причинам. После собрания ко мне заходили актеры Адоскин, Баранцев, Сошальская, Михайлов и другие и выражали свое сочувствие мне и возмущение поведением руководства и парторганизации, устроившей это незаконное собрание в отсутствие человека, которого обвиняют. <...>

Протокол собрания мне не показали из опасений усугубить мое болезненное состояние!!!

Узнав об этом собрании и о том, что меня сняли с роли Министерши, я перенесла тяжелый спазм сосудов и сердца. Считаю поведение дирекции и парторганизации незаконным, бесчеловечным и жестоким в отношении актрисы моего возраста... Если я была в чем-то не права, руководство должно было объявить мне выговор, но такая мера воздействия представляется мне несовместимой с моими представлениями о советской законности.

По целому ряду фактов я поняла, что главный режиссер не хотел, чтобы я играла в роли Министерши. Показ спектакля должен был состояться в конце августа в Свердловске, и в то же время главный режиссер из Челябинска уехал в Москву, сказав, что до его возвращения репетиций быть не должно. Вернувшись из Москвы, постановщик спектакля «Министерша» не приступал к репетициям. В Свердловске 4-го числа он вызвал участников в кабинет, где занимался

рисованием, в то время как я сбивалась с ног в поисках мизансцен и решения кусков. Все последующие две репетиции тоже были посвящены рисованию, что вызвало во мне особое раздражение, так как нет ничего для актера мучительнее, чем незаинтересованность, апатия и отсутствие интереса к его творчеству со стороны режиссера-постановщика. <...>

Учитывая то, что, помимо инцидента с «Министершей», я за годы пребывания в театре была мало использована, прошу Вас перевести меня в один из театров, где могу быть нужна и полезна. Однажды ко мне обращался режиссер Туманов из Театра имени Пушкина с предложением с ним работать, и если он не изменил своего взгляда на меня как на актрису, я бы сейчас приняла это предложение.

По окончании гастролей в начале сентября буду в Москве, где надеюсь с вами обсудить этот вопрос...

*Черновик обращения в Министерство культуры,
написанный рукой Раневской*



На меня вылили помойное ведро, и никто не встал и не сказал, что это все результат недовольства отдельных актеров: одному не сказала похвальных слов, с другими не хочу играть в концертах, третьему не сказала, что он хороший артист, четвертого разозлило, что меня встречают хлопками, а его нет, с пятым не общаюсь (было неинтересно), шестого обругала за то, что

не профессионален, на репетициях не собран, распушен, не работает сам дома и т. д.

Предместкома сказал в кругу своих приятелей, после того как довели до припадка: «Пора кончать этот Освенцим Раневской».

Оленин инкриминировал то, что я, входя на собрание, сажусь в первый ряд!!! Значит, должна сидеть сзади. Что в каждом моем шаге — моя нескромность и самоуверенность. Говорят, черт не тот, кто побеждает, а тот, кто смог остаться один.

Меня боятся.

Как я могла все это вынести? Перечитала свое заявление. Глупая, глупая.



Завадскому снится, что он уже похоронен на Красной площади.

Пипи в трамвае — вот все, что сделал режиссер в искусстве.

Блядь в кепочке.

Вытянутый в длину лилипут.



Мне непонятно всегда было: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства.

В театре небывалый по мощности бардак, даже стыдно на старости лет в нем фигурировать. В городе не бываю, а больше лежу и думаю, чем бы мне заняться постыдным. Со своими коллегами встречаюсь по необходимости с ними «творить», они все мне противны своим цинизмом,

который я ненавижу за его общедоступность... Трудно найти слова, чтобы охарактеризовать этот... театр, тут нужен гений Булгакова. Уж сколько лет таскаюсь по гастролям, а такого стыдобыща не помню. Провалились. Провалились торжественно и бесшумно... В старости главное — чувство достоинства, а его меня лишили.



Так безнадежно бездарны подлый репертуар и «деятели искусств». Живу в царстве невежества дикого, уголовно наказуемого, бешеная спекуляция на темах. О, эти темы! Почему-то все, от кого исходит необходимость темы, забыли сказанное Энгельсом своей корреспондентке в письме после прочтения ее пьесы: «Чем глубже спрятана тенденция, тем это лучше для художественного произведения...»



...Жизнь удивительно провинциальная, совсем как в детстве, в Таганроге, все всё друг о друге знают. Есть же такие дураки, которые завидуют «известности». Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что вас все знают, все узнают, есть для меня что-то глубоко оскорбляющее, завидую безмятежной жизни любой манникюрши.

Какой печальный город. Невыносимо красивый и такой печальный с тяжело-болезнетворным климатом. Всегда я здесь больна.

Ленинград. 60 г.



Снимаюсь в ерунде. Съемки похожи на каторгу. Сплошное унижение человеческого достоинства, а впереди провал, срам, если картина вылезет на экран.

Стараюсь припомнить, встречала ли в кино за 26 лет человекообразных? Пожалуй, один Черняк — умерший от порядочности.

1. Пышка.
2. Подкидыш.
3. Свадьба.
4. Дума про казака Голоту.
5. Пархоменко.
6. Мечта.
7. Небесный тихоход.
8. Ошибка инженера Кочина.
9. Золушка.
10. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
11. Похождения бравого солдата Швейка.
12. Человек в футляре.
13. Весна.
14. У них есть Родина.
15. Встреча на Эльбе.
16. Слон и веревочка.
17. Осторожно, бабушка!
18. Александр Матросов.
19. Легкая жизнь (ну и намучилась).
20. Драма.
21. Девушка с гитарой.
22. Сегодня новый аттракцион (последний).

Фильмы эти не показывают, а сколько сил ушло на ерунду.

Прислали на чтение две пьесы. Одна называлась «Витаминчик», другая — «Куда смотрит милиция?». Потом было объяснение с автором, и, выслушав меня, он грустно сказал: «Я вижу, что юмор вам недоступен».



...Сниматься в фильмах было мучением. Деньги за них давно прожила, а стыд живуч (или позор тащится). Наслаждением было партнерство большого актера.

ИЗ ПИСЕМ Ф. Г. РАНЕВСКОЙ — Х. и Э. ГАРИНЫМ

Хесо, милая, ах Хесо! Сегодня уже 1 августа — я не писала Вам, боясь отнять у Вас время, — знаю, как Вы заняты и замучены. Чувствую, как Вам трудно на Вашей студии, а что это за студия, я до конца узнала на днях, — представьте себе! — только на днях!

На днях явилась ко мне некто Сытина — сценаристка, если бы с ней не было администратора, я бы подумала, что эта женщина убежала от Кашенки, но администратор, ее сопровождавший, производил впечатление вполне нормального сумасшедшего, работающего в кино. Сценаристка объявила, что они с администратором приехали за мной на съемку, которая состоится завтра (!!).

Мне показалось, что я брежу, настолько это было неожиданно. Сначала они оба стали меня

уговаривать, умолять сейчас же из Комарова ехать в Ленинград, а затем в Москву, т. к. меня ждет весь творческий коллектив, и что я не имею права срывать (!) съемку с массовой в 400 человек. Придя в себя, я спросила, о какой съемке идет речь? Мне сказали, что это фильм, который снимает — совместно с другим режиссером — Баранова, и что послал за мной Бритиков, который убедительно просит меня приехать и не срывать съемку (?!).

Возможно ли такое?

Я сказала, что не знаю сценария, не знаю роли и не представляю себе, как при этом можно сниматься. Сценаристка пообещала в дороге рассказать мне содержание сценария и роли (!).

На мой решительный отказ пуститься в такую авантюру Сытина стала осыпать меня упреками, сердилась, бранилась, обвинила меня в отсутствии этики по отношению к студии, съемочной группе, режиссуре и пр. А после упреков она снова стала умолять спасти положение и ехать во что бы то ни стало. Вся эта сцена происходила в вестибюле Д/О (Дома отдыха в Комарово), и многие кинематографисты из «Ленфильма» стали невольными свидетелями. Я просто вся тряслась, буквально тряслась от такой неожиданности, от ее напора, от того, что не знала, как избавиться от этой женщины. Знаете ли Вы такого человека — Бориса Михайловича Марголина? Этот добрый человек взял меня за руку, увел в мою комнату, уложил в кровать и укрыл одеялом, потому что меня трясло, а день был жаркий.

Больше всего меня оскорбили упреки в отсутствии этики, меня оскорбило то, что со старой, заслуженной артисткой можно обращаться как с девкой.

Как мог позволить себе Бритиков послать за мной на съемку, зная, что мне неведомы сценарий и роль? Надеюсь, Вы поймете меня. Наверное, есть актеры, которые дали повод так с ними обращаться, но я этого не заслужила.

У меня нет дара описывать и рассказывать на бумаге, и, наверное, все, что я Вам попыталась описать, совсем не соответствует тому, что здесь происходило. Эта сцена уговоров длилась три часа. Спасал меня от этой невероятной женщины и Туманов, который требовал, чтобы она оставила меня в покое. Уходя, она вошла ко мне в комнату, снова начала упрекать в том, что я подвела студию, и последние ее слова были: «Это останется на Вашей совести».

Ради Бога, поймите меня, — мне как-то позвонила Баранова и предложила сняться, я ответила, что, пока не прочитаю сценария и не узнаю, какова роль, кроме принципиального согласия, ничего сказать не могу. Я ответила вежливо, как отвечаю всем в подобных случаях, — мне не послали сценария, а прислали за мной с требованием срочно выезжать сниматься.

Мне думается, что это так оставить нельзя. Когда буду в Москве, отчитаю Бритикова, и никогда ноги моей не будет на этой студии. Простите, дорогая, что отняла у Вас время, но ведь ближе у меня никого нет. Это такое хулиганство,

такое неуважение к творческому человеку... Никак не могу успокоиться.

...Хесо, если будет у Вас секунда, когда будете в силах, — напишите 2 слова о себе и Эрасте. Я даже Вам открытку с адресом суну, чтоб Вам не затрудняться на адрес.

Очень крепко Вас обоих обнимаю. Здесь было жарко, а теперь холодный ветер. Бегаю по лесу королем Лиром! Ах, до чего одиноко человеку.

Ваша Фаина

...После визита Сытиной я закурила. Жаль!



13.3.65 г.

Дорогая Эрасточка!

Очень была рада увидеть Ваши иероглифы, дорогая Хесо. Очень была рада тому, что Вам там хорошо. Вообще, я вижу, что мне осталось в этой жизни радоваться удаче друзей. Других радостей у меня больше нет. И не может быть. Была у меня наша Нэлли, за которую буду рада, если она поедет в Париж. Ввиду моего решительного отказа поразить парижан моей французской игрой за это мероприятие уцепилась Вера Марецкая, которая уже играет вместо меня и будет играть до отъезда. Таким образом, я абсолютно свободна и, погрузившись в мои неглубокие мысли, сижу у себя на койке и мечтаю об околеванце. По наивности (а в мои годы наивность — это глупость) я спросила моего шефа (Ю. А. Завадского), что мне предстоит играть, ибо без

перспектив трудно существовать, — он мне сказал, что в первую очередь ищет пьесу для «В. П.», так и сказал: «В. П.». В театре я не бываю, — это даже лучше, потому что очень меня мутит от суматохи, сплетен, шипения, страдания неедущих, ликования едущих... Гримерша натянула мне на голову парик, как кепку, чуть ли не задом наперед. Отдельные реплики, услышанные мной от моих коллег, указывают на то, что их заботит малая сумма денег в Париже, а радость от того, что они увидят Париж и все восхитительное в нем, никто не испытывает.

Меня спрашивают часто, почему я отказалась от поездки. Я отвечаю: «Не хочется». Это никому не понятно.

Из происшествий, имевших место на предстоящем пути в Париж, упомяну самое трагическое: режиссер Шапс психически заболел по причине того, что его спектакли не везут. «В настоящее время пострадавший находится в психиатрическом отделении кремлевского филиала». Так бы звучала заметка в «Вечерке».

Милая Хесо, по Вашей просьбе я купила большую партию витамина «Геровит» — для вас обоих. Я его тоже принимаю и считаю, что если при моей дикой душевной усталости, физическом недомогании я способна строчить вторую страницу «послания к друзьям», — то это дело рук отнюдь не моих, а прославленного иностранца Геровита.

Была у меня с ночевкой Анна Ахматова. С упоением говорила о Риме, который, по ее сло-

вам, создал одновременно Бог и сатана. Она пресытилась славой, ее там очень возносили и за статью о Модильяни денег не заплатили, как обещали. Премию в миллион лир она истратила на подарки друзьям, и хоть я числюсь другом — ни хрена не получила: она считает, что мне уже ничего не надо, и, возможно, права. Скоро поедет за шапочкой с кисточкой и пальтишком средневековым, — я запомнила, как зовется этот наряд. У нее теперь будет звание. Это единственная женщина из писательского мира будет в таком звании. Рада за нее. Попрошу у нее напрокат шапочку и приду к Вам в гости. Должны же мы наконец увидеться в этой жизни. Хесо, у меня тоска и с тоски пишу Вам ерунду.

Вас и Эрасточку крепко обнимаю.

Ваша любящая подруга Фаина

...А ведь судьба мне — мачеха!



Хесо, дорогая, как огорчило меня письмо Ваше, как душа болит, когда думаю о переезде Вашем, хлопотах, с этим связанных, но я не решаюсь Вам посоветовать отделаться от всего юмором. Не лучше ли глазу? По поводу переезда знаю, что в этих случаях надо утешаться тем, что пожар, землетрясение, чума и т. д. еще менее соблазнительны. Так я всегда говорила моему семейству на Хорошевке. У них четырежды проделывали капитальный ремонт. У Вас же это будет единственный раз. Ей-богу, этим стоит утешаться. Мне жаль, что

меня не будет в это время в Москве, — я бы постаралась быть Вам хоть чем-то полезной.

...Хесо, я получила аванс, с помощью которого отослала половину долгов, оставшуюся половину проживаю. В конце июня должна получить зарплату, из которой в первую очередь отправлю Вам долг. (Если память не окончательно отшибло, — 80 рублей.) При подписании договора сумма оказалась меньше обещанной!!!

Милая моя, Вы даже не подозреваете, на какую пытку я обрекла себя!

От количества света плавятся мозги, от процесса «творческого» с помощью известного Вам «мэтра» и под стать оператора и осветителей — очень легко сойти с ума. Произнося текст, — у меня ощущение, что жую грязную вату. Плюс недоброкачественная, отечественная пленка, на которой, по словам кинодеятелей, снимать нельзя! Когда увидела кусок отснятого материала — упала со стула. Представьте гигантскую лиловую жопу, посреди которой торчит мой нос! По ночам я кричу. Многое надо заново переснимать. Во время съемок молюсь: «Помяни царя Давида и всю кротость его!» Если этот опус — еще не «лебединая моя песнь», то снимусь еще в последний раз только в черно-белом каком-нибудь говне. Но вернее всего, никогда сниматься не буду. В жизни всякого человека наступает такой день, такой час переоценок, когда содеянное прежде повторить невысказанно. И все-таки вспоминаю «Легкую жизнь» и пошлого человечка Дормана как сладостный сон! До такой степе-

ни все, что здесь происходит, — невероятно и не поддается описанию, поверьте мне! И конца этому нет. Простите, но кому еще я могу рассказать о моем отчаянии? Кому это интересно! А когда выйдет на экран это произведение?! Ведь со стыда сгоришь! У Нади такое дурновкусие, упрямство, какое бывает только у недаровитых людей. Человечески она мне абсолютно чужая, а когда-то я к ней неплохо относилась. Представьте, как мне здесь одиноко.

Ваши жалобы на истеричку-погоду понимаю, — сама являюсь жертвой климакса нашей планеты. Здесь в мае падал снег, потом была жара, потом наступили холода, затем все это происходило в течение дня.

Гостиница полна иностранцев. Столетние старушки носятся как угорелые, в ресторане галдят на всех языках. Прислушиваюсь к разговорам и понимаю, что нет большего счастья, как обладание одной-единственной извилиной в мозгу и большим количеством долларов! За номер я плачу 100 рублей в месяц, суточных не получаю, расходы огромные, и вспоминается мне рассказ о старом еврее, который сидит на ступеньках вагона мчащегося поезда и причитает: «Боже мой, Боже мой, сейчас кондуктор употребляет мою Розочку за то, что пустил нас без билетов, маленький Монечка написал в продукты, и вообще мы едем не в ту сторону».

Простите, Хесо, большое и пустое письмо. Сейчас закончила второй том дневника Гонкуров. Советую прочитать. Это великолепное, чу-

десное и чистое жизнеописание. Очень интересная и такая нужная книга...

...Обнимаю крепко. Привет Эрасту.

Ваша Фаина



Мне иногда кажется, что я еще не живу... За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и все время делает попытки перестать мне служить... Но я ему приказываю: «Бейся, окаянное, и не смей останавливаться!»



«Как ни редка настоящая любовь, — настоящая дружба встречается еще реже». Ларошфуко.

«То, что писатель хочет выразить, он должен не говорить, а писать». Э. Хемингуэй.

То, что актер хочет рассказать *о себе*, он должен сыграть, а не писать мемуаров.

Я так считаю.



Как все влюбленные, была противная и гнусная, грозилась скорой смертью, а тот, в ком надо было вызвать тревогу, — лукаво посмеивался.



В золотом небе плавали грязные, как лужицы, тучки. Собрались гулять, вдруг пришли гости, объелись и сидели печально.

Опять литературные гости. Опять нестерпимо грустно.



В Ленинграде видела очень роскошную старушонку, наверное американку, лет 80, абсолютно пьяную, но крепко стоящую на ногах. Она прощалась со швейцарами и долго целовала их взасос. Швейцары потом отплевывались, провожая ее до машины, где сидели тоже пьяные старушки и абсолютно пьяный водитель. Я подумала, что далеко они не уедут, или наоборот...



Среди моих бумаг нет ничего, что бы напоминало денежные знаки.

Долгов — 2 с чем-то тысячи в новых деньгах. Ужас, — одна надежда на скорую смерть.



...Живу в грязном дворе, грохот от ящиков, грязь. Под моим окном перевалочный пункт, шум с утра до ночи.

Куда деваться летом? Некому помочь.

...Поняла, в чем мое несчастье: я, скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая дура» — не лажу с бытом!

Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть.

У всех есть «приятельницы», у меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить.

Одежду ношу старую, всегда неудачную.

Урод я.

...Алиса Коонен — я была страстной ее поклонницей, и она дружески ко мне относилась — сказала мне, что все философствуют, а она *живет* не философствуя и потому счастлива.



Как унизительна моя жизнь.

Какая тоска, Бог мой, это же пытка нечеловеческая жить в такой тоске. Психологическая несовместимость и психическая несовместность.

...Жизнь моя прошла около, все не задавалось. Как рыжий у ковра.

«Успех» — глупо мне, умной, ему радоваться. Я не знала успеха у себя самой... Одной рукой щупает пульс, другой играет...

«БОЖЕ, КАК Я УСТАЛА ОТ РАНЕВСКОЙ...»

От ее бестолковости, забывчивости. Но это с детства запущено. Это не склероз, вернее, не только склероз.



Тамара (Тамара Калустян, близкая подруга Раневской. — Д. Щ.) рассказывала: «Ее знакомый князь Оболенский отсидел в наказание за титул, потом работал бухгалтером на заводе.

Выйдя на пенсию, стал сочинять патриотические советские песни, которые исполняет с хором старых большевиков, — поет соло баритон, хор вторит под сурдинку. Успех бурный. Князь держится спокойно, застенчив, *общий любимец хора.*

Аристократ!!»



«У души нет жопы, она высраться не может» — это сказал мне Чагин со слов Горького о Шалапине, которому сунули валерьянку, когда он волновался перед выходом на сцену. Он рассказал о деловом визите к Горькому. Покон-

чив с делами, Г. пригласил Чагина к обеду. Столовая была полна народу. Горький наклонился к Чагину и сказал ему на ухо: «Двадцать жоп кормлю!»



У моей знакомой две сослуживицы: Венера Пантелеевна Солдатова и Правда Николаевна Шаркун.

А еще: Аврора Крейсер.



В Одессе, в магазине шляп:

«Соня, посмотри, эта дама богиня?»

Соня: «Форменная богиня».

«Эта шляпа сделает вам счастье».

В Столешниковом: «Маня, отпусти даме шляпу.

Маня: Не могу, я сегодня на кепках».



Еще осенний лес не жалок,

Еще он густ и рыж и ал.

Стихи молодого поэта из Тулы (по радио). О Бог мой, за что мне такое!

По радио: «Таня — бригадирша, в ее светлых, карих глазах поблескивают искры трудового энтузиазма».

Боже мой, зачем я дожидалась до того, чтобы такое слушать!



Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый. Но практически как-то складывается так, что постоянно, процентов на восемьдесят, нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда!



...Я не избалована вниманием к себе критиков, в особенности критикесс, которым стало известно, что я обозвала их «амазонки в климаксе».



Собачья нянька, от нее пахнет водкой и мышами, собака моя — подкидыш — ее не любит, не разрешает ей ко мне подходить.

Нянька общалась с водой только в крестной купели. Но колоритна. Сегодня сообщила:

«У трамвае ехал мужчина и делал вид, что кончил «иституй». На коленях держал «портвей», а с портвея сыпалось пшено. А другой мужчина ему сказал: «Эй ты, ученый, у тебя с портвея ДЕЛА сыплются».

Животных она любит, людей ненавидит. Называет их «раскоряченные бляди». Меня считает такой же и яростно меня обсчитывает. С ее появлением я всегда без денег и в долгах.

Сегодня выдавала фольклор. Мой гость спросил ее: «Как живете?»

«Лежу, ногами дрыгаю».

«Милиционер говорит: «Здесь нельзя с собакой гулять».

«Нельзя штаны через голову надевать!»

«Пошла в лес с корзиной, а там хлеб, и милиционер спрашивает: «Что это у тебя в корзинке, бабушка?» А я говорю: «Голова овечья да п... человечья». А он хотел меня в милицию загнать. А я сказала: «Некогда мне, на электричку опаздываю».

Сегодня нянька сообщила, что все дети стали «космические», что детей опасно держать в доме, где живут родители.

Если бы она время от времени общалась с водой, я бы с интересом ее слушала. Что-то от лесковских старух.



...Ну и лица мне попадают, не лица, а личное оскорбление! В театр вхожу как в мусоропровод: фальшь, жестокость, лицемерие. Ни одного честного слова, ни одного честного глаза! Карьеризм, подлость, алчные старухи!

...Тошно от театра. Дачный сортир. Обидно кончать свою жизнь в сортире.

...Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд. А может быть, в буквальном смысле «потеряла стыд» — ничего о себе не знаю.

...День кончился. Еще один напрасно прожитый день никому не нужной моей жизни.

65 год, 27 ноября, ночь, 2 часа



...Если бы я вела дневник, я бы каждый день записывала фразу: «Какая смертная тоска...» И все.

«ПОСЛАНИЯ КАФИНЬКИНА»

Ф. Г. РАНЕВСКАЯ — ПИСАТЕЛЮ В. Е. АРДОВУ

Не понимают «писатели», что фразу надо чистить, как чистят зубы... В особенности дамское рукоблудие бесит, — скорее, скорее в печать. Способная Г. заставила двух стариков наперебой шпарить Омара Хайяма. Меня стошнило. А ведь способная.



Когда я слышу приглашение: «Приходите потрепаться» — мне хочется плакать.

Написала Татьяне Тэсс: «Приезжайте ко мне, в поместье. На станцию «Малые Херы». На службе у Тэсс в редакции «Известий» дамы разволновались. И кто-то спросил: «А где такая станция?»»

*ПОСЛАНИЯ А. КАФИНЬКИНА —
КРУПНОМУ ХУДОЖНИКУ СЛОВА ТАТЬЯНЕ ТЭСС*

Здравствуйте, Татьяна Тэсс!

Увидел я Вашу карточку, и невозможно смотреть без волнения, как Вы загадочно улыбаетесь — «Огонек» 45, индекс 70663.

Рассказ при ней также написан с большим знанием дела, хоть я и не люблю чтения про буржуазный строй, чуждый советским людям.

Из Вашего яркого сочинения видно, что наши люди лучше заграничных, хоть я пострадал от нашего советского. Я был обокраден племянником на почве доверия к людям.

Этим летом я решил удалиться на свежий воздух для поправления организма. Как говорится, годы берут свое, а женские капризы подорвали здоровье, а по просьбе вышеизложенного родственника я оставил его в моем домике на предмет сбережения имущественного фонда и т. к. в последнее время наблюдается, что в Малых Херах беспокойно от тунеядцев и бывали случаи нападения с помощью холодного оружия. Это нежелательное явление со стороны молодежного туризма, которые повадились наблюдать достижения предков по линии церквей, а также банных заведений далекого прошлого.

Возвратился я полный сил, как тут же обнаружил пропажу кальсон (2 пары темно-фиолетовых с начесом), а также пиджака, а также лампы (импорт). Зная, как перо в Ваших руках хлестко бьет по явлениям и на страницах прессы отрицательное отношение к нашей действительности, прошу Вас написать про мой случай, имевший место.

И еще должен сказать, когда читаю произведения, сходящие с Вашего пера, всегда переживаю острые переживания. В Вашем пере волнует борьба за правду и хорошее внутри человека. Мои

соседи того же мнения, и мы часто обсуждаем совместно Ваши умные сочинения, выхваченные из жизненных процессов людей. Когда получаем газету, перво-наперво ищем Ваше фамилие, и если ее нету, то и не читаем, скука одолевает.

Пишите, Татьяна, чаще. Пишите, почему нет снижения цен и других достижений? Почему к нам в Малые Херы не приезжают выдающиеся артисты для обмена культурными ценностями? Многое еще хочется поведать Вам, зная Ваше чуткое отношение к трудящимся. К примеру: выходил я больную курицу (чахотка легких). И что же Вы думаете, на основании найденных у соседей во дворе перьев и пуха, она была похищена в период именин бухгалтера завода «Путь в коммунизм». Прошу этот случай описать с присущей Вашему таланту верой в человека.

Или возьмем такое: у моего кореша случился геморрой, после чего он, недолго думая, скончался, не дождавшись врача. Несмотря на мои позывные, врачаха явилась через отрезок времени. Совместимо ли это с нашей конституцией?

В это, Татьяна, Вам надо вникнуть, чтобы покончить с пережитками нашей счастливой жизни! В наступающем Новом, 1967 году желаю еще острее оттачивать Ваше гневное перо на благо Родины. Желаю счастья в личном разрезе.

С глубоким почтением КАФИНЬКИН А. И.

Мой адрес: Малые Херы, Б. Помойный (бывш. Льва Толстого), собственный дом.

Т. ТЭСС — ПРЕДЫДУЩЕМУ АДРЕСАТУ

Моя дорогая, любимая актриса — «актрисуля», как писал Антон Павлович своей Книппер, — спасибо Вам за доброе письмо и за немислимо смешное сочинение неизвестного завистника. К сожалению, в нынешнем составе малеевских жителей сейчас очень мало людей, кому я могу это прочесть: почти все сами пишут «Куда, куда летите, гуси?..» и ничего смешного в этом не видят. Один местный поэт, к примеру, написал в свое время стихи, которые начинались так: «Я в Москве родился, родила меня мать...» Р. в пародии вполне логично добавил: «Тетке некогда было в ту пору рожать». Но в общем это звучит на том же уровне...

...Вы ничего не написали мне о своем здоровье, и я не знаю, как Вы. Не знаю я и когда начнутся гастроли в Ленинграде. Погода изменилась, дело клонится к зиме, днем шел снег, ветер злой, как собака. Бегала в Старую Рузу за 6 км, чтобы купить меда, — не сплю никак — говорят, надо есть мед перед сном и будешь спать как дитя.

Съем полбанки, могу позволить себе, как художник слова, — будь что будет.

Поэт Сергей Островский¹ на прогулке сказал:

— Написал сегодня стихи о любви. Во стихи! Тема закрыта — все!

И лег спокойно спать. И во сне видел: не было до него ни Маяковского, ни Пастернака,

¹ Имеется в виду поэт С. Островой.

ни Ахматовой — не было и не будет после. Тема закрыта, все!

Легко, наверное, таким людям жить на свете.

Читаю здесь «Белую гвардию» — пронзающая душу, жестокая и нежная повесть. Какой удивительный писатель, какой умный, беспощадный и добрый человек! За таким можно на край света пойти, не то что в Сивцев Вражек. Елена Сергеевна (Булгакова. — Д. Щ.) для меня сейчас видится совсем по-другому, словно легла на нее тень и свет Беатриче. Будем живы-здоровы, поведите меня к ней, когда вернусь в Москву.

...Какой закат сейчас — синий, таинственный, рериховский. Буря сломала огромную ель, и она лежит, раскинувшись, как павший в бою гренадер. Пришел Орлов, зовет гулять.

Целую Вас нежно, великая моя современница.

Ваша Т. Тэсс

19.4.67. Малеевка

А. КАФИНЬКИН — СОВРЕМЕННОЦЕ

Я верил, Татьяна, в Ваш неуклонный рост на основе Вашего пера, в преддверии Вашей эскалации, а прочитал про художественную диффамацию артистки (Раневской) и понял, что Вы иссякли, как таковая.

Артистку не знаю и знать не хочу. И зачем Вы на нее пустили Вашу научную мысль? Зачем Вас метнуло на пережитки счастливого прошлого нашей суровой действительности? Старуха, согласно Вашему яркому описанию, — ненормально

помешанная, такая и ларек может ограбить. Артистки, как факт, все легкого поведения, им только в ресторанах закуски есть и мужей отбивать, а Вы на них углубили взгляд людей, у которых еще хватает совести совать мне газету и восклицать в смысле Вашего апофеоза.

В мои молодые годы прошлых лет я знал артистку — было на что посмотреть. Фамилией ей было — Лобзальская. Глаз у нее, правда, косил, но играла броско, с танцами и в трико. И такие протуберанцы выделявала ногами, что дух захватывало. А когда в бенефис играла «Дамы в суфлерской будке» — людей выносили из зала, а кто оставался сидеть — был в обмороке, но тем не менее никто про ее рентабельную игру не писал в газете на 4 столбца.

Писать надо про людей, как я, про мой возраст.

С Вашим рассуждением про таких, как я, надо с большой буквы кричать. У артистов ничего не проходит красной нитью, а я многие годы жил с буржуазной отрыжкой в голове, говел, имел сношения, а под влиянием Вас пробудился и теперь прошу вернуть мне гражданские права. Под влиянием Вас ездил в Тамбов, на коллоквиум мысли, где состоялся форум в направлении. Дорога в два конца, ресторан-кафе, где отравился свежей рыбой. Снимал люкс на две койки с водоснабжением. Все это во имя Вас, с Вашим призывом к моей духовной пище.

Махните про меня, рука не отсохнет. Татьяна! Пишите про простого советского человека,

как он, малограмотный, читает лекции по вопросам, пишет версии про открытия, читает доклады про новейшую живопись нового направления. Под Вашим пером я подвергался и теперь на грани. Пусть люди знают, как я вырос на ниве.

В Тамбове после вопросов была драка, но в перемирие поел грибов в кафе «Восторг». Женщины в Тамбове преобладают с кривыми ногами, но есть одностороннее движение.

Гулял с одной блондинкой, встреченной на коллоквиуме. Но у нее воображение выражает отсталость научной мысли, и нет в ней взглядов Ваших глаз, что неуклонно врезалось в память.

Пришлите, Татьяна, свое свежее фото, чтобы я ориентировался.

С нетерпением жду Вашего выступления по моей части в Вашем органе.

С пламенным приветом Афанасий Кафинькин

ПОСВЯЩАЕТСЯ Т. ТЭСС

Годы бегут, а друга нет как нет.
Расходы увеличиваются втрое.
Веселой прошлой жизни простыл и след.
И никуда ум не годится и здоровье.
А в прошлом было все:
Ломился стол от кушаний, напитков,
Колбасы всех сортов, копчености,
С визигию пирог и женский смех
Вокруг веселый и игристый.
Где это все, вот что интересно!

С уважением А. Кафинькин



Вы меня не знаете, глубокоуважаемая Татьяна Григорьевна. Мое фамилие Усюькин, по матери происхождение имею от рода Кафинькина, ныне покойного дяди моего. Разбирая имущество дяди, найдено письмо, где покойник просит передать Вам привет и благодарность за внимание к разного рода явлениям нашей счастливой действительности на почве неполадок, имеющих место. Дядя (царство ему небесное) незадолго до кончины покончил с буржуазным прошлым и поступил в партию, где был членом с большой буквы.

Я тоже являюсь членом по просьбе дяди. Текущая действительность обнаружила большие достижения с Вашим участием в общественной жизни, где Вы выявляете значение происходящего на почве роста нашего сознания. Спасибо Вам за нравственное значение событий. Остаюсь преданный Вам Усюькин.

ЕЩЕ ОДНО ПОСЛАНИЕ ТАТЬЯНЕ

Татьяна!

Привет с Парижа. Я нахожусь в преддверии для наблюдений над явлениями. Конечно, город на уровне, плохого не скажу, но и хорошего мало. Из достопримечательностей имеется башня, на самой верхушке — ресторан. Население в основном французы и женщины легкого поведения.

Чем нас бьют французы — это магазинами. И разговоры разные бросаются в глаза. Был в ночном

заведении, где показывали разные штуки в области половых отношений. Конечно, такого в СССР нам с Вами не покажут.

Посольские ребята затащили в музей, где люди стояли возле каменной фигуры, которая в настоящее время стоит без рук. Кто ей руки обломал, пока не выяснили, но следствие ведется. Кругом говорили, что она — красавица, но не верьте, Татьяна, например, моя жена-покойница была интересней.

Подводили меня к картине в дорогой раме, на картине нарисована женщина мало интересная, кругом говорили, что у ней особенный взгляд глаз, но я ничего особенного не заметил. У нас в Манеже были покрасивше, а что без рук статуя, то это даже хулиганство. Я нигде не видел, чтобы в парке «Девушка с веслом» стояла без весла, а тем более без рук.

Много у них жульничества, так что можем соревноваться.

Как Вы знаете с газет, была в Париже «Неделя марксистской мысли». Я всю неделю делился мыслями с другими советскими. Сейчас начинаю изучать все по-ихнему, для обмена опытом. Уже выучил слово «нон» по-ихнему «нет», «бонжур» — по-ихнему — как живем? Водка по-ихнему — тоже водка. Так что больших трудностей нету.

Наша комиссия, где я работаю над проблемами, уже пришла к выводу. По слухам, следующая командировка в Австралию, так что по приезде с Парижа придется углубиться в изучение

австралийского языка. Дали маху, Татьяна, а то бы ездили вместе на континенты, приоделись бы, выступали бы по вопросам. А тему уже подготовил: «Прогнозирование будущего на почве настоящего».

Теперь моя специальность — «наше будущее». Скоро увидите мое фотографии за круглым столом прогнозистов-оптимистов.

Если надумаете приехать: Париж, советское посольство, А. Кафинькину.

Купил Вам кастановую шляпку, пальто с перьевым воротником.

Жду.

«ТЕАТР СТАЛ МОЕЙ БОГАДЕЛЬНОЙ, А Я ЕЩЕ МОГЛА БЫ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ...»

...Не могу больше терпеть ни фальши, ни безвкусицы, ни невежества. Не могу больше выносить играть с артистами, которых видела в Мариуполе в 1911 году. Не могу больше выносить штампов ни своих, ни чужих, слушать глупость неграмотных режиссеров. Что мне делать, добрейшая Софья Владимировна?

(Из письма Ф. Г. Раневской — С. В. Гиацинтовой)



Для меня каждый спектакль — очередная репетиция. М. б., поэтому не умею играть одинаково. Иногда репетирую хуже, иногда лучше, но хорошо — никогда. После спектакля мучаюсь тем, что хорошо не играю.

Всегда удивляюсь, когда хвалят.

...Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки...

Больше всего любила человеческий талант. И всегда мне везло на бездарных.

...Современный театр... Контора спектаклей. Директор — хрен-скиталец, руки в карманах. У него за кабинетом имеется клозетик. Сидит пьет чай. Потом ходит выписывать чай.

...Театр катится в пропасть по коммерческим рельсам.

Бедный, бедный К. С.

...Торговали душой, как пуговицами...



Читаю дневники Мордвинова. Наивный и чистый, подумала — тоже мученик, — в театре, где я страдаю от одиночества, халтуры, пыли на всем и на всех.



Дивный актер П., и зачем он такой двуличный, циничный. Равнодушие преступно всегда и всюду, а театру придет конец от невежества «руководств», директоров, министров, бутафоров, актеров, блядей-драмаделов.

У Завадского «прорезался талант» к Достоевскому.

...Но почему он при всем хорошем оставляет мусор, дрянь-актеров, детские пистолеты, топор посреди зрительного зала?..



О Г. Бортникове.

Вновь родиться, чтобы играть Раскольниковова. Нужно в себе умертвить обычного, земного, нужно стать над собой, нужно искать в себе Бога.

Как мне жаль, что я не могу быть для него тем, чем была для меня ОНА.

Б. должен убить в себе червяка тщеславия, он должен сказать себе: «Я ничего не сыграл еще, я плюю на успех, на вопли девочек и мальчиков, я должен прозреть и остаться один на один с собой и с Родионом».

Господи, помоги ему!

Я ничего не требую от Б. потому, что роль эта делается годами, но что я хочу от него?



...Хорошая Саввина, хорошая Карташева.

Б. тогда поймет, что он делает, когда перестанет говорить текст, а начнет кровоточить сердцем...



В 73 году перестала играть. Подарила роль Л. Орловой. Тяжело среди каботинов. Бероева любила, его не стало, он погиб. Театр — невыносимая пошлость во главе с Завадским. Тошно мне.

Мне 75 лет.

«Сэвидж» отдала Орловой. Хочу ей успеха. Наверное, я не актриса. Настоящая актриса огорчилась бы, а я хочу ей успеха. Никто ведь не поверит.

...Во мне нет и тени честолюбия. Я просто бегаю от того, за чем гоняются мои коллеги, а вот самолюбие сволочное мучит. А ведь надо быть до такой степени гордой, чтобы плевать на самолюбие.

Кто-то заметил: «Никто не хочет слушать, все хотят говорить».

А стоит ли говорить?



Птицы дерутся, как актрисы из-за ролей.

Актриса хвастала безумным успехом у аудитории. Она говорила: «Меня рвали на части!» Я спросила: «А где вы выступали?»

Она гордо ответила: «В психиатрической клинике».



Звонил Лапин (Председатель Гостелерадио СССР в 1970-х годах. — Д. Щ.), поздравил меня с Новым годом, прислал открыточку: «Когда же вы наконец засниметесь в спектакле для телевидения?»



Сняли на телевидении. Я в ужасе: хлопочу мордой. Надо теперь учиться заново, как не надо.



Вчера возили на телевидение. Вернулась разбитая. Устала огорчаться. Снимали спектакль — «Дальше — тишина». Неумелые руки, бездарные режиссеры телевидения, случайные люди.

Меня не будет, а это останется. Беда.

Вспомнилось, как Михаил Ромм, которого я просила поставить в театре эту пьесу, отговаривал меня в ней участвовать, говоря, что в пьесе

хорошая роль мужа, а роли старухи нет. Пьеса слабенькая, но нужная, потому что там дети и старики родители. Пьеса американская, а письма ко мне идут от наших старух, где благодарят — за то, что дети стали лучше относиться. Поступила правильно, не послушав Ромма, пришлось роль выправлять, а роли нет, конечно. Замучилась с ней, чтоб что-то получилось.

78 год



К показу сцен на ТВ:

Обязательно:

- 1) «Шторм» полностью,
- 2) фильм «Первый посетитель»: дама с собачкой на руках,
- 3) «Дума про казака Голоту»,
- 4) «Таперша», Пархоменко,
- 5) «Слон и веревочка»,
- 6) «Подкидыш»: «труба» и «газировка»,
- 7) «Мечта»: тюрьма и с Адой Войцик,
- 8) «Матросов» или «Небесный тихоход»,
- 9) Фрау Вурст — «У них есть Родина»,
- 10) «Весна»,
- 11) Гадалка — «Карты не врут»,
- 12) «Свадьба»: «приданое пустяшное»,
- 14) «Человек в футляре»: «рояль»,
- 14) «Драма»,
- 15) «Золушка»:
 - 1) сцена, где она бранит мужа за то, что он ничего не выпросил у короля,
 - 2) сцена примерки перьев,

3) отъезд «познай самое себя».

Сцены по просьбе телевидения.

Показ сцен не состоялся. Забывчиво оно, это телевидение.

Все это было в фильмотеке, была пленка, пропавшая на ТВ. 76 год. Ко дню моего 80-летия нечего показать!

Мерзко!



Открыла *ящик*. Выступал поэт 1 мая 78 года. Запомнила: «Чтоб мой ребенок не робел при виде птиц на небосклоне». И прочие подобные желания, кои не запомнила. О, Господи! За что!



В телевизоре. Актеры что-то говорили, я ничего не понимала. Решила, что теряю слух. Спросила рядом сидящего молодого товарища: «Что они говорят?» Он ответил: «А черт их знает! Я ничего не понял». А ведь в нашем деле главное — *слово!* Беда!



Видела гнусность: «Дядя Ваня» — фильм. Все как бы наизнанку. Бездарно. Нагло, подло, сделали Чехова скучнейшим занудой, играют подло. Все похожи на попов-расстриг, а Астров на спившегося городского. Хороша Ирина Вульф. Единственная правдивая, и в Чехове.

«Лучше ничего не делать, чем делать *ничего*», — говорил Брюллов своему ученику художнику Ге.



Боже мой, какая тоска и собаки нет...



Теперь в старости я поняла, что «играть» ничего не надо.

В 19 лет маленькую роль считала большой, а большая роль казалась мне не под силу, боялась с ней не справиться. Происходит это и по сей день.

73 г.



Старая харя не стала моей трагедией, — в 22 года я уже гримировалась старухой, и привыкла, и полюбила старух моих в ролях. А недавно написала моей сверстнице: «Старухи, я любила вас, будьте бдительны!»

Книппер-Чехова, дивная старуха, однажды сказала мне: «Я начала душиться только в старости».

Старухи бывают ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки... Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо *добреть* с утра до вечера!



Самым трудным для меня было научиться ходить по сцене. Я так и не научилась.

...Системы Станиславского я не знаю. Пыталась ее узнать, но знакомство с системой не

помогло мне играть так, как мне хотелось бы, т. е. лучше.

Мне посчастливилось видеть С. во многих ролях, — он был чудо-артист.



...«Вассу» играла в 36-м, после смерти Горького. Вскоре. Была собой недовольна. Работала с Е. С. Телешевой.

Сравнивая и вспоминая то время, поняла, как сейчас трудно. Актеры — пошлее, циничнее. А главное — талант сейчас ни при чем. Играет всякий, кому охота.

77г.



Часто говорят: «Талант — это вера в себя». А по-моему, талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой, своими недостатками, чего я, кстати, никогда не замечала в посредственности. Они всегда так говорят о себе: «Сегодня я играл изумительно, как никогда! Вы знаете, какой я скромный? Вся Европа знает, какой я скромный!»



Это мелочь — внешний вид роли мне очень помогает перейти в глубину, в существо ее. И по сей день меня коробит и оскорбляет неопрятный вид бумажек. Казалось бы, говорить об этом не стоило, но, очевидно, для меня это неотделимо

от того, чтобы, к примеру, вымыть руки перед тем, как сесть за трапезу. Слежавшиеся, грязные бумажки заставляют меня испытывать чувство неприязни к актерам, и это чувство непреодолимо. Меня учила мой педагог Павла Леонтьевна переписывать роль в тетрадку, реплики подчеркивать красным карандашом, знать полностью пьесу, знать в точности роль, думать о ней дни и, если не спится, ночи. И этот процесс не прекращается ни на один день, пока роль существует в репертуаре.

Ненавижу слово «играть». Пусть играют дети.

...Партнер для меня — все. С талантливыми становлюсь талантливая, с бездарными — бездарной. Никогда не понимала и не пойму, каким образом великие актеры играли с неталантливыми людьми. Кто и что их вдохновляло, когда рядом стоял НЕКТО С ПУСТЫМИ ГЛАЗАМИ.

...Для меня всегда было загадкой — как великие актеры могли играть с артистами, от которых нечем заразиться, даже насморком. Как бы растолковать бездари: никто к вам не придет, потому что от вас нечего взять. Понятна моя мысль неглубокая?

...Ужасная профессия. Ни с кем не сравнимая. Вечное недовольство собой — смолоду и даже тогда, когда приходит успех. Не оставляет мысль: а вдруг зритель хлопает из вежливости или оттого, что мало понимает?

...Когда на репетиции в руках у моего партнера я вижу смятые, слежавшиеся листки — отпечатанную на машинке роль, которую ему не

захотелось переписать своей рукой, я понимаю: мы говорим с этим человеком на разных языках. Вы подумаете: мелочь, пустяк, но в пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В крупном можно притвориться, на пустяки же, как правило, внимания не тратят.

Моя учительница П. Л. Вульф говорила: «Будь благородной в жизни, тогда тебе поверят, если ты будешь играть благородного человека на сцене».



Я знаю, кого буду играть, а как — не знаю. Нужна основа, нужна задача — тогда можно импровизировать. Немыслимо одинаково сыграть даже десять спектаклей, не то что сто.

...Я не учу слова роли. Я запоминаю роль, когда уже живу жизнью человека, которого буду играть, и знаю о нем все, что может знать один человек о другом.

Одинаково играть не могу, даже если накануне хотела повторить найденное. Подличать штампами не умею. Когда приходится слушать интонации партнера как бы записанными на пластинку, хочется вскочить, удрать. Ненавижу разговоры о посторонних вещах. Перед выходом на сцену отвратительно волнуюсь. Начинаю играть спокойно перед тем, как спектакль снимают с репертуара.

...Материалом к роли служит и свое, и чужое. Черты характера беру от всех окружающих — знакомых, незнакомых и воображаемых. Когда игра-

ла в «Шторме», приписала к тексту свои слова. В 20-х годах жила трудно, на базаре меняла вещи на продукты, видела и слышала там много любопытного. И это мне помогло. Когда же персонаж пьесы по жизни незнаком, непонятен, работа идет труднее. Иногда образ возникает от внешнего представления, но внешнее всегда служит выражением внутренней сути.

Для меня загадка: как могли Великие актеры играть с любым дерьмом? ...Я мученица, ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться, и вся моя *долгая жизнь в театре — Голгофа*. Хорошее начало для «Воспоминаний».



...Всегда очень волнуюсь, как правило, на премьере проваливаюсь. Не бываю готова. Полное понимание роли иногда приходит тогда, когда спектакль снимают с репертуара. От спектакля к спектаклю продолжаю работать над ролью, продолжаю думать о роли, которую играю. Скоро будет шестьдесят лет, как я на сцене, а у меня только одно желание — громадное желание играть с артистами, у которых я могла бы еще учиться. И говорю это абсолютно искренне.

...Я не придаю большого значения тому, что сделала в театре и в кино. Люблю играть эпизод — он в состоянии выразить больше, чем иная многословная роль. Два моих самых любимых эпизода совершенно противоположны — спеку-

лянтка из «Шторма» и таперша из фильма об Александре Пархоменко.

...Композитор Кирилл Молчанов сказал мне: «Вы сделали больше тех, кто думает, что они сделали много», — на мою жалобу, будто я так мало сыграла.

...В актерской жизни нужно везение. Больше, чем в любой другой, актер зависим, выбирать роли ему не дано. Я сыграла сотую часть того, что могла. Вообще я не считаю, что у меня счастливая актерская судьба... Тоскую о несыгранных ролях. Слово «сыграть» я не признаю. Прожить еще несколько жизней...

...Почему мои любимые роли: бандитка Манька из «Шторма», продувная Дунька из «Любови Яровой» и даже спекулянтка Марго из «Легкой жизни»? Может быть, в моих глубинах затаилась преступница? Или каждого вообще тянет к тому, чего в нем нет?



«Система», «система», а каким был Станиславский на сцене, не пишут, — не помнят или перемерли, а я помню, потому что такое не забывается до смертного часа. И теперь, через шесть десятков лет, он у меня перед глазами, как Чехов, как Чаплин, как Шаяпин. Я люблю в этой жизни людей фанатичных, неистовых в своей вере. Поклоняюсь таким.

Сейчас театр — дерьмо, им ведают приказчики, а домработницы в актрисы пошли. Как трудно без них дома, как трудно с ними в театре.



Я — выкидыш Станиславского.



...Стало трудно, текст великолепный (речь идет о пьесе Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». — Д. Ш.), а запомнить не могу. Сегодня речь вульгарная, примитивная, разговорная, да и говорить не с кем. Ушли все.



Не могу запомнить ни одной фразы в роли. Как школьница, зубрю текст. Теряю память. Это впервые такая трудность. А роль и пьеса превосходны. Островский. Давно не играла классику. В плохих пьесах сама сочиняла тексты. Импровизировала, забавлялась. А тут такая трудность, что хоть со сцены уходить.

Узнала ужас одиночества. Раздражает болтовня дурех, я их не пускаю к себе. Большой это труд — жить на свете.

И такая печаль, такая печаль.

Как действуют на психику краски обычные.

Стены дома выкрашены цветом «безнадежности». Есть, очевидно, и такой цвет. Погибаю от безвкусыя окружения. Из всех искусств дороже всего — живопись: краски, краски, краски.

Хороший вкус — тоже наказание Божие.

Музыку неистово люблю...

«Эка тишина, точно в гробу. С ума сойдешь от такой тишины. Бродишь одна по пустым комнатам — одурь возьмет».



Воспитать ребенка можно до 16 лет, — дома! Воспитать режиссера — может и должна библиотека, музей, музыка, среда, вкус — это тоже талант, вкус — это основа. Отсутствие вкуса — путь к преступлению.



Неистовый темперамент рождает недомыслие. Унять надо неистовость... Нужна ясная голова, чтобы донести мысли автора, а не собственный пыл! «Пылающий режиссер — наказание Божие актера! Отнял у меня последние силы пылающий режиссер...»



Я не знаю системы актерской игры, не знаю теорий. Все проще! Есть талант или нет его. Научиться таланту невозможно, изучать систему вполне возможно и даже принято, м. б., потому мало хорошего в театре.



«Усвоить психологию импровизирующего актера — значит найти себя как художника». М. Чехов.

Следую его заветам.



Ушедшие профессии: доктора, повара, актеры.



Научиться быть артистом нельзя. Можно развить свое дарование, научиться говорить, изъясняться, но потрясать — нет. Для этого надо родиться с природой актера.



...Получаю письма: «...помогите стать актером», отвечаю — Бог поможет.



Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума: она обо мне все знает, а я о ней ничего.



...Чтобы получить признание — надо, даже необходимо, умереть.

Спутник Славы — Одиночество.



К смерти отношусь спокойно теперь, в старости. Страшно то, что попаду в чужие руки. Еще в театр поволокут мое тулово.



Кремлевская больница — кошмар со всеми удобствами.



Саша Тышлер. Мне сказали, — отпустил по плечи волосы — седые и редкие. Отчего это? Ведь он не так стар для такого маразма?

—>><<—
Болею, сердце, 76 год, холодный май.

—>><<—
Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца.

—>><<—
Странно — абсолютно лишенная (тени) религиозной, я люблю до страсти религиозную музыку.

Гендель, Глюк, Бах!

...«Все должно стать единым, выйти из единого и возвратиться в *единое*». Гете.

Это для нас, для актеров — снова!

Кажется, теперь заделалась религиозной.

76 г.

—>><<—
...Наверное, я чистая христианка. Прощаю не только врагов, но и друзей своих.

...Огорчить могу — обидеть никогда.

Обижаю разве что себя самое.

Вокруг сердиты все, кроме Толи Адоскина.

Моя жизнь: одиночество, одиночество, одиночество до конца дней.

—>><<—
«Друга любить — себя не щадить». Я была такой.

—>><<—
«Перед великим умом склоняю голову, перед Великим сердцем — колени». Гете.

И я с ним заодно. Раневская.

«ТОСКА ПРОСТО И ЧУДОВИЩНАЯ ТОСКА — ЭТО РАЗНОЕ, НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМОЕ»

...Живется трудно, одиноко, до полного отчаяния.

...Теперь, перед концом, я так остро почувствовала смысл этих строк из Екклезиаста: суета сует и всяческая суета.

Смотрю в окно, ремонтируют старый доходный дом напротив, работают девушки, тяжести носят на себе, ведра с цементом. Мужчины покуряют, наблюдают за работой девушек... почти девочек. Двое появились у меня на балконе, краска душит, мучаюсь астмой. Дала девочкам сладостей. Девочки спрашивают: «Почему Вы нас угощаете?» Отвечаю: «Потому что я не богата». Девочки поняли, засмеялись.

Из письма Ф. Раневской В. Анджапаридзе



«Ново только то, что талантливо, что талантливо — то ново», — писал Чехов.

Как всё врет кругом!

...Чехов писал, что Стасов опьянялся от помоев, и критики теперь на гнусные спектакли и книги пишут восторженные похвалы; только Стасов искренне пьянел, а эти хитрят, подличают, врут.



В природе больше всего люблю собак и деревья. На цветы смотреть тяжело теперь.

Больница, 77 г., осень. Лес осенью — чудо! Смотрю в окно, как деревья умирают стоя. Кричит ворон с отчаяньем, жаль его, наверное голодный. Вчера было «гипо». Выгнали сахар. Подлая болезнь. Мне все чужое. Люди чужие...

Многие получают награды не по способностям. А по потребности. Когда у попрыгуны болят ноги — она прыгает сидя.



Деревья всегда прекрасные — зеленые и без единого листа. Я их люблю, как могу полюбить хорошего человека. В цветах нет, не бывает печали и потому к цветам равнодушна...



Удивительно. Читаю и удивляюсь: мои ощущения, мои мысли, но сказал это Бунин:

«Я всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся — буду мучеником! Ведь просто взглянуть на них — уже страдание: что мне делать с их нежной, прекрасной

красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразить. И чуя это, душа сама отстраняется».

«Грасский дневник». Галина Кузнецова



«Жалость... и есть, наконец, самый горячий и самый подвижнический лик любви — любовь к возлюбленному материнская». Это Тэффи, великолепная, трагическая и очень несчастная в эмиграции, мой любимейший прозаик, самая талантливая. Мне повезло сейчас прочесть почти всю ее, а после нее взяла записную книжку Ильфа и не улыбнулась.

Году в 16-м я познакомилась с ней, помню ее очень молодой, модно одетой, миловидной, печальной.

Из Парижа привезли всю Тэффи. Книг 20 прочитала. Чудо, умница.



Перечитываю Бабеля в сотый раз и все больше и больше изумляюсь этому чуду убиенному.



Читаю, читаю, перечитываю. Взяла Лескова перечитывать. «Юдоль» — страшно и великолепно. Писатель он ни на кого не похожий, он не может не удивлять. Только Россия могла дать и Толстого, и Пушкина, и Достоевского, и Гоголя, и аристократа (от лавочника) Чехова, и

мальчика Лермонтова, и Щедрина, и Герцена, и Лескова неумного — писателя трагически одинокого; и в его время, и теперь его не знают, теперь нет интеллигентных, чтобы знать их вообще, писателей русских. У Лескова нашла: «Природа — свинья». Я тоже так думаю! Но люблю ее неистово (а «свинья» — это о похоти).

Сейчас долго смотрела фото — глаза собаки человечны удивительно. Люблю их, умны они и добры, но люди делают их злыми.



80 лет — степень наслаждения и восторга Толстым. Сегодня я верю только Толстому. Я вижу его глазами. Все это было с ним. Больше отца — он мне дорог, как небо. Как князь Андрей. Я смотрю в небо и бываю очень печальна.

Самое сильное чувство — жалость. Я так мечтала, чтобы они на охоте не убили волка, не убили зайца. И как же могла Наташа, добрая, дивная, вытерпеть это?

Я отказалась играть в «Живом трупe». Нельзя отказываться от Толстого. И нельзя играть Толстого, когда актер П. играет Федю Протасова, это все равно, как если б я играла Маргариту Готьe только потому, что я кашляю.



Перечитываю Толстого. В мировой литературе он premier.

«Чем затруднительнее положение, тем меньше надо действовать». Толстой.

«Писать надо только тогда, когда каждый раз, обмакивая перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса». Толстой.

«Просящему дай». Евангелие.

А что значит отдавать и *не просящему*? Даже то, что нужно самому?



...Я не могу оторваться. Вы или кто-нибудь другой в мире объясните мне, что это за старик?! Я в последнее время не читаю ни Флобера, ни Мопассана. Это все о людях, которых они сочинили. А Толстой! Он их знал, он пожимал им руку или не здоровался...

...Сейчас, когда так мало осталось времени, перечитываю все лучшее и конечно же «Войну и мир». А войны были, есть и будут. Подлое человечество подтерлось гениальной этой книгой, наплевало на нее. Как прав был Б. Шоу, сказав, что нет зверя страшнее человека.

Перечитываю и «Каренину». Смеюсь над собой — все молила Бога, чтобы Анна не бросилась под поезд. Непостижимый мой Лев Николаевич висит у меня над постелью, и я боюсь его глаз. Теперь читаю в третий раз «Казачьи» и неистовствую, восхищаюсь до боли в сердце.

78 год



Перечитываю уход Толстого у Бунина.

...«Место нечисто ты есть дом».

Так говорил Будда.

После того как все домработницы пошли в артистки, вспоминаю Будду ежесекундно!



Сказано: сострадание — это страшная, необузданная страсть, которую испытывают немногие.

Покарал меня Бог таким недугом.

...Сострадаю Толстому, да и Софье Андреевне заодно. Толстому по-другому, ей тоже по-другому...



Дожила до такого невежества, *преступления*, что жить неохота. Стыдоба. Балет «Анна Каренина», балет «Чайка», балет «Ревизор». И никто мне не сочувствует, будто это вполне нормальное нечто. Что это? Никто из людей грамотных не вопит. «Чайка» — любимая моя в драматургии русской. Танцевали бы «Дикую утку», проклятые дикари.



Взялись киношники за Толстого:

«Война и мир», «Анна Каренина», а теперь стали топтать ногами: «Анна Каренина» — балет.

Господи, пошли мне смерть скорую!

В общем, «жизнь бьет ключом по голове» — так писала восхитительная Тэффи.



Более 50 лет живу по Толстому, который писал, что не надо вкусно есть.



Люблю гитару, гитару цыган, люблю неистово. У «Яра» в хоре пела старуха, звали Татьяна Ивановна. И я поняла, почему Пушкин и Толстой любили цыган. Не забыть мне старухи цыганки, чудо.



Дома хаос, нет работницы — в артистки пошли все домработницы. Поголовно все.

Не могу расстаться с Пушкиным — Пушкин во мне сидит. Пушкин...

С. Бонди детям о Пушкине — очень хорошо. Я плакала. Впадаю в детство. Впрочем, Горький незадолго до кончины плакал не уставая.



Где-то я вычитала, что у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме.

...Павла Леонтьевна говорила мне, что Вера Федоровна Комиссаржевская сказала: «Не знаю такого человеческого голоса, которым можно вслух читать стихи Пушкина».

Я не сплю ночей, что мне делать?

...Все думаю о Пушкине. Пушкин — планета! Он где-то рядом. Я с ним не расстаюсь. Что бы я делала в этом мире без Пушкина...

81 год



...Он мне так близок, так дорог, так чувствую его муки, его любовь, его одиночество...

Бедный, ведь он искал смерти — эти дуэли...

Ахматова рассказывала мне, что в Пушкинский дом пришел бедно одетый старик и просил ему помочь. Жаловался на нужду, а между тем он имеет отношение к Пушкину.

Сотрудники Пушкинского дома в экстазе кинулись к старику с вопросами, каким образом он связан с А. С.

Старик гордо заявил: «Я являюсь правнуком Булгарина».



Я боюсь читать Пушкина: я всегда плачу. Я не могу без слез читать Пушкина. Цявловская на фотографии мне написала: «Моей дорогой пушкинистке». Я больше тридцати лет прожила в доме Натали на Большой Никитской. Там большие комнаты разделили на коммунальные клетушки: я жила в лакейской.



Помню, однажды позвонила Ахматовой и сказала, что мне приснился Пушкин.

«Немедленно еду», — сказала Анна Андреевна.

Приехала. Мы долго говорили. Она сказала:

«Какая вы счастливая! Мне он никогда не снился...»



...Мальчик сказал: «Я сержусь на Пушкина, няня ему рассказала сказки, а он их записал и выдал за свои». Прелесть!

Но боюсь, что мальчик все же полный идиот.



...На ночь я почти всегда читаю Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять читаю, потому что снотворное не действует. Я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы все его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь... Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал: «Оставь меня в покое, старая б... Как ты надоела мне со своей любовью».

«НЕУЖЕЛИ ТАК МАЛО СЕЙЧАС ХОРОШИХ АКТРИС?..»

*Я подарила и отослала Инне Чуриковой книгу
Алисы Коонен.*

*Надписав: «Книгу Великой трагической актри-
сы нашего времени с уверенностью увидеть в Вас
ее преемницу.*

Ф. Раневская».



Мне нет и полувека, сорок с лишним.
Я жив тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.

Стихотворение В. С. Высоцкого



Маргарите Алигер стихи эти нравились чрез-
вычайно. Она мне их записала по памяти.

Он был у меня. Он был личность.



С Ией Сергеевной Саввиной мне довелось иг-
рать в одном спектакле. Оговорилаь, не признаю
слова «играть» в нашей актерской профессии. Ска-

жу: существовать в одном спектакле. Это была первая встреча, в которой я полностью убедилась в том, что моя партнерша умна, талантлива. Для меня партнер — самое главное. Она была настолько правдива, настолько убедительна, что мне было трудно представить себе ее иной, но тут же вспомнила пленительную «даму с собачкой» в кинофильме, вспомнила ряд других ее работ в кино и театре иного плана, и мне стало ясно, что я встретила с большой актрисой большого дарования, и очень этому обрадовалась...



Талантливая Елена Камбурова. Услыхала ее однажды по радио, и я туда писала о ней с восхищением.

Ее преследуют за хороший вкус.



В телепередаче недавно увидела актрису Неелову. Два больших отрывка большой актрисы. Позвонила в театр, ее телефон мне не дали.

Она была у меня. В ней есть что-то магическое. Магия таланта. Очень нервна, кажется даже истерична. Умненькая. Славная, наверное несчастна. Думаю о ней, вспоминаю. Боюсь за нее. Она мне по душе, давно подобной в театре, где приходится играть (хотя я не признаю этого слова в моей профессии), не встречала. Храни ее Бог — эту Неелову.

1 марта 80 г.



Если окружение — богема, она погибнет.

Вчера вечером она мне позвонила, опять все думала о ней. Сочетание в ней инфантильности с трагическим. Вызывает во мне восхищение талант ее и сострадание к ее беззащитности. Огорчает то, что помочь ей я бессильна. Ей нужен учитель. А я не умею. Она с собой не умеет, да и не хочет сделаться такой, какой должна быть!

2 марта 80 г.



Тяжко стало среди каботинов. Бероева любила — его не стало. Театр — невыносимая пошлость во главе с Завадским. Тошно мне.



У меня сегодня особый счастливый день. Позвонил Райкин, он ведь гениальный. Он сказал, что хотел бы что-то сыграть вместе со мной. Горжусь этим, очень горжусь. Что-то, значит, хорошее во мне есть — в актрисе...

«ВСЕ МЫ НЕМНОГО ЛОШАДИ»

...Последний вечер в Малеевке, будь она трижды проклята. Доконали симпатиями, восторгами, комплиментами, болтовней. Живу в домике на отлете. Сторожей нет, горланят хулиганы из деревни. Прибежала соседка-криминалистка — пишет диссертацию. Посоветовала опасаться родственников и хороших знакомых, которые главным образом и убивают близких!

Никогда еще так не уставала, как на отдыхе в Малеевке.



...Жаль, что не писала, не записывала.

А знаю многое, видела многое, радовалась и ужасалась многому.



И еще одна неудача — дай Бог последняя — в моей неудачливой, окаянной жизни: «летний отдых». Ниночка (Сухоцкая. — Д. Щ.) по свойству ее характера видеть «прекрасное» во всем описала мне предстоящую райскую жизнь в августе на даче со всеми удобствами (кошмар со всеми

удобствами). Ушла бы пешком домой, но там никого нет, кто поможет и мне, и моей больной собаке.

Внуково, 1976 год



Кто-то подбросил собаку к дому, где я существую, собака обезумела от страха перед незнакомым ей местом, ходит взад-вперед, останавливается, долго стоит, смотрит, всматривается, не узнает, и опять ходит, и опять долго стоит, смотрит. Ни разу не присела, и так уже 10 дней. Где она ночует, где спит и почему не умирает с голоду? Кто бы знал, как мы обе несчастны.

70 год, весна, дождь



И вот разуверившись в добрых волшебниках,
Последнюю кость закопав под кустами,
Собаки, которые без ошейников,
Уходят в леса, собираются в стаи...
Ты знаешь, у них уже волчьи заботы!
Ты слышишь:
Грохочет ружейное полымя!
Сегодня мне снова приснятся заборы,
И лязги цепные под теми заборами.

Потому-то и убежала раньше срока из санатория, где голодные, несчастные псы под деревьями. Больную щеночку выбросили в лес, где ей предстояло умереть с голоду.

Старая я. «Все мы немножко лошади». Лошадки.



Принесли собаку, старую, с перебитыми ногами. Лечили ее добрые собачьи врачи.

Собака гораздо добрее человека и благороднее. Теперь она моя большая и, может быть, единственная радость. Она сторожит меня, никого не пускает в дом. Дай ей Бог здоровья!



...Завтра еду домой. Есть дом, и нет его. Хаос запустения, прислуги нет, у пса моего есть нянька — пещерная жительница. У меня никого. Чтобы я делала без Лизы Абдуловой?! Она пожалела и меня, и пса моего — завтра его увижу, мою радость; как и чем отблагодарить Лизу, не знаю... Завещаю ей Мальчика.

13. XI. 77



...Мой подкидыш в горе. Ушла нянька, которая была подле него два года (даже больше). Наблюдаю псину мою... А она смертно тоскует по няньке. В глазах отчаянье, ко мне не подходит. Ходит по квартире, ищет няньку. Заглядывает во все углы, ищет. Упросила няньку зайти повидаться с псиной. Увидел ее — упал, долго лежал не двигаясь. У людей это обморок. У собаки — больше, чем обычный обморок.

Я боюсь за него, это самое у меня дорогое — псина моя, Человечная.

81 год



Масик маленький, родной,
Он приполз ко мне домой,
Он со мной и день и ночь,
Потому что он мне дочь!

*Посвящение Масику, бросившему, изменившему мне
ради Брониславы Захаровой. 78 г.*



Мучительная нежность к животным, жалость к ним, мучаюсь по ночам, к людям этого уже не осталось. Старух, стариков только и жалко никому не нужных.

У планеты климакс — весны не было, весной была осень, сейчас июнь — холодно, дождь, дождь.

Меня забавляет волнение людей по пустякам, сама была такой же душой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что все пустое. Нужна только доброта, сострадание.

...Сию в Москве, лето, не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом и с сортиром. А в мои годы один может быть любовник — домашний клозет.

Одиноко. Смертная тоска.

Читаю Даррелла, у меня его душа, а ум курицы. Даррелл — писатель изумительный, а его любовь к зверью делает его самым мне близким сегодня в злом мире.

...Нина расхваливала дачу, я поверила. Приехала... За что мне такое убожество под конец жизни? Я сбежала через 12 дней. Нина обиделась.

76 год, август



...Весна в апреле. На днях выпал снег, потом вылезло солнце, потом спряталось, и было чувство, что у весны тяжелые роды.

Книжку писала три раза, прочитав, рвала.



Женщина в театре моет сортир. Прошу ее поработать у меня, убирать квартиру. Отвечает: «Не могу, люблю искусство».



Соседка, вдова мосссоветовского начальника, меняла румынскую мебель на югославскую, югославскую на финскую, нервничала. Руководила грузчиками... И умерла в 50 лет на мебельном гарнитуре. Девчонка!



«Глупость — это род безумия». Это моя всегдашняя мысль в плохом переводе.

Бог мой, сколько же вокруг «безумцев»!

Летний дурак узнается тут же — с первого слова. *Зимний* дурак закутан во все теплое, обнаруживается не сразу. Я с этим часто сталкиваюсь.

«СТАРОСТЬ — ЭТО ПРОСТО СВИНСТВО»

*Страшный радикулит. Старожилы не помнят,
чтобы у человека так болела жопа.*

...Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье.



Паспорт человека — это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть восемнадцать лет, а паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить, как восемнадцатилетний человек!

Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости. Господи. Уже все ушли, а я все живу. Бирман — и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела. А только начинаешь жить!



...Нет у меня интеллигентных знакомых. Любимые умерли. Все говорят одно и то же, всех

объединяет быт, вне быта не попадают, да и я, будучи вне быта, никуда не гожусь.

Зачем я все это пишу? Себе самой. Смертное одиночество.



...Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести.

...У них у всех друзья такие же, как они сами, — контактные, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг к другу в гости. Как завидую им, безмозглым!



«Высший Божий Дар — возмущаться всем дурным» (кажется, Гете).

Наградил Бог щедро этим даром меня.

...Дурехи, дуры болтливые — вот круг. Я от них бегаю. Одна радость пес, молчит, не болтает глупостей.

Весны не было, лета не было. Сижу в Москве — отпуск, скоро ему конец. Скоро конец и мне.

80 г.



Когда я слышу о том, что люди бросают страну, где они родились, всегда думаю: как это можно, когда здесь родились Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Чехов, когда здесь жили писатели, поэты, как Тютчев, Блок,

и те другие, каких нет нигде. Когда здесь свои березы, свои тополя, свое небо. Как это можно бросить?

79 г.



...Меня терзает жалость. Кто-то сказал: «Жалость — божественный лик любви». Ночью болит все, а больше всего — совесть. Жалею, что порвала дневники, — там было все.

...Была Катя Дыховичная, без голоса, потеряла голос. Как же она, бедняга, будет теперь работать редактором на радио. Хочется мне записать на радио Лескова — «Полуночники».

Тоскливо. Книгу писала три года, потом порвала. Аванс выплатила наполовину, вторая — за мной.

Тоскливо, нет болезни мучительнее тоски.
Кому это пишу? Себе самой.



Как жестоко наказал меня «создатель» — дал мне чувство сострадания. Сейчас в газете прочитала, что после недавнего землетрясения в Италии, после гибели тысяч жизней, случилась новая трагедия: снежная буря. Высота снега до шести метров, горы снега обрушились на дома (очевидно, где живет беднота) и погребли под собой все. Позвонила Н. И., рассказала ей о трагедии в Южной Италии и моем отчаянии. Она в ответ стала говорить об успехах своей книги!

...Как же мне одиноко в этом страшном мире бед и бессердечия.



Если бы на всей планете страдал хоть *один* человек, одно животное, — и тогда я была бы несчастной, как и теперь.



Кто бы знал, как я была несчастна в этой проклятой жизни со всеми моими талантами. Недавно прочитала в газете: «Великая актриса Раневская». Стало смешно. Великие живут как люди, а я живу бездомной собакой, хотя есть жилище! Есть приبلудная собака, она живет моей заботой, — собакой одинокой живу я, и недолго, слава Богу, осталось.

Мне 85 лет. 1981 г.



За что меня можно пожалеть? Для меня не существует *чужое горе*.

Из всех восьми венков терновых
алмазный сплел себе венец.

И вот явился гений новый —
завистник старый и подлец.

Всякая сволочь в похвальных статьях упоминает о моем трудном характере. «И я принимаю Вашу несправедливость, как предназначенную мне честь».



Есть во мне что-то мне противное.



Один горестный день отнял у меня все дары жизни.



«О, Аллах, запечатай мои уста, дабы я никогда не утруждал уши моих друзей рассказами о моих болезнях».



«Что может быть глупее — требовать на путевые расходы больше, чем меньше остается пути». Цицерон.



Мои любимые мужчины — Христос, Чаплин, Герцен, доктор Швейцер, найдутся еще — лень вспоминать.



У меня два Бога: Пушкин, Толстой. А главный? О нем боюсь думать.



Увидела на балконе воробья — клевал печенье. Стало нравиться жить на свете. Глупо это...



Кажется, до конца дней буду помнить два дня, которые провела на телевидении. Смотрела пленки с режиссером, «бухгалтером». Он подсчитывал секунды с помощью электроаппарату-

ры. Волновался, говорил, что боится потерять премиальные в случае «недобора» или «перебора» секунд. Ни одного слова не сказал о моей работе. Хотя бы изругал! Было бы легче замечание, недовольство.

Через три дня эти опусы увидят миллионы. Я в руках ремесленников, не знающих ремесла! Не знаю, что ждет меня после показа старых пленок. А на беду расхвалил Ираклий. Бедняга — старый. Больной, читает по записке, весь потухший Ираклий, потухший вулкан.

25. X. 76 г.



...Звонила Маргарита Алигер, хвалила, хвалили ее друзья, знакомые. Маргарита сердилась, даже ругала за то, что я не рада успеху, велела радоваться, а я не могу радоваться, не получается. Наоборот, тоскливо ужасно. Нет рядом Павлы Леонтьевны — и все в этом.



Встречи, встречи, письма, письма, письма, письма — это после показа моих старых пленок.



Тоска, тоска, я в отчаянии, такое одиночество. Где, в чем искать спасения?

Тоска, тоска, — «час тоски невыразимой, все во мне, и я во всем». Это сказал Тютчев — мой поэт. А как хорошо было около Ахматовой. Как

легко было. А как хорошо было с моей Павлой Леонтьевной. Тогда не знала смертной тоски. Ушли все мои...



9 мая 72 г. умерла Ирочка Вульф. Я одна теперь на земле, страшно. Мы были дружны, я сердилась на нее, но я, видимо, ее любила. Роднее Павлы Леонтьевны не было никого. Я узнала ее ребенком... Мне стыдно, что я пережила ее. В ее смерть я не верю, не верю, что не увижу. Меня гонят в больницу, но надо играть. Одно утешение: скоро все кончится и у меня.

...Не могу опомниться. И так, будто осталась я одна на всей земле. Я обижала ее, не верила ей. Она сказала: «Вас любит Ниночка (Сухоцкая. — Д. Щ.) и я, а Вы не дорожите этим, как будто так и надо».

Когда кончится мое смертное одиночество?

Май 72 г.



Со смертью Ирины я надломилась, рухнула связь с жизнью, порвана.

Такое ужасное сиротство мне не под силу. Никого не осталось, с кем связана была жизнь...



Ближних, любимых никого. Ужасное одиночество. Смертно тоскую по Павле Леонтьевне. Она меня очень любила, а я относилась к ней

молитвенно. Она сделала из меня и человека и актрису.

...Играет Рихтер Бетховена. Играет так, как играл бы сам Бетховен. Я мучаюсь, не могу слушать без Павлы Леонтьевны. Она была всегда рядом, она наслаждалась Рихтером, а я одна мучаюсь.

И всегда теперь без нее не могу слушать музыки. Без нее все кончилось.



Мне не хватает трех моих: Павлы Леонтьевны, Анны Ахматовой, Качалова. Но больше всех П. Л...

...Зимой, когда могилы их покрыты снегом, еще больнее, еще нестерпимее все там. Сейчас ночь, ветер и такое одиночество, такое одиночество. Скорей бы и мне... Изорвала все, что писала три года, книгу о моей жизни, ни к чему это. И то, что сейчас записала, — тоже ни к чему.



Зима нудная, долгая, конец февраля, а белый снег, как мой саван. Ненавижу зиму. Зима — сезон для молодых: коньки, лыжи. В старости зима — Божья кара. На улицу не выхожу, боюсь упасть. И зачем все это пишу? Рядом уже никого нет. Смерти побаиваюсь, а больше страха смерти страх за *маську*, моего подкидыша. С ним что будет?

...Не наблюдаю в моей дворняге тупости, которой угнетают меня друзья-неандертальцы.

А где взять других?

Стало холодно, конец декабря.

Ненавижу зиму. Снег как саван.

Зима хороша для «танца на льду», лыж, а теперь мне тошно от снега-савана.



Для некоторых старость особенно тяжела и трагична. Это те, кто остался Томом и Геки Финном.



Старость приходит тогда, когда оживают воспоминания. Тяжело горюю, теряю друзей — нет Романа Кармена, нет великого композитора Хачатуряна. Очень их любила.

Умерла Ирина Вульф. Дикая жалость.

Ночь, 78 год



...Теперь, когда я похоронила всех близких, похоронила все, настоящее — несостоящее. Ничего не интересно, ничего не хочется. Вспоминаю то, что было, только это меня занимает. С отвращением слушаю чужие голоса. Стараюсь не слушать.

Ужасно раздражают голоса.



«Все старое ушло, а новое не появилось».
А. Мюссе.



«Жизнь есть подвиг». Б. Шоу. «Что может быть хуже, чем отдых?» В первый раз в жизни испытываю чувство зависти... *Завидую могучему уму.* Какая же Шоу прелесть человеческая! «Во мне живет трагик, а по соседству с ним клоун, и отношения с ними далеко не добрососедские». «Я не виляю и не петляю, мне нечего прятать». «Человек был всегда самым жестоким из животных». Надо достать и перечитать Шона О'Кейси. (Пьеса Ш. О'Кейси «Милый лжец», или «Враль» по письмам Шоу. — *Д. Ш.*) Вряд ли все перевели. Шоу его хвалит.

Влюбилась в Шоу. Больше всего в жизни я любила влюбляться: Качалов, Павла Леонтьевна, Бабель, Ахматова, Блок (его лично не знала), Михоэлс — прелесть человек. Екатерина Павловна Пешкова, М. Ф. Андреева мне были симпатичны. Бывала у обеих. Макс Волошин, Марина Цветаева, чудо-Марина. Обожала Е. В. Гельцер. Мне везло на людей.



Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одинокой.

Мне некому теперь рассказать сон.



Жизнь прошла и не поклонилась, как злая соседка...



...Умерли мои все, ушло все. Боюсь сойти с ума.



...У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собой — какое самоограничение.



...Бог мой, как прошмыгнула жизнь, я даже никогда не слышала, как поют соловьи.



«Я Бог гнева! — говорит Господь» (Ветхий Завет).

Это и видно!!!



А может быть, поехать в Прибалтику? А если я там умру? Что я буду делать?

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. А. Щеглов. Испытываю непреодолимую зависть</i>	3
«Скромность или же сатанинская гордыня?..»	7
«Воспоминание — невольная сплетня»	10
«Боже мой, как я стара — я еще помню порядочных людей...»	19
«Трупы дней устилали мой путь, и я плачу над ними»	83
«С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю»	124
«Боже, как я устала от Раневской...»	146
«Послания Кафинькина»	150
«Театр стал моей богадельней, а я еще могла бы что-то сделать...»	160
«Тоска просто и чудовищная тоска — это разное, ни с чем не сравнимое»	176
«Неужели так мало сейчас хороших актрис?...»	185
«Все мы немного лошади»	188
«Старость — это просто свинство»	193

Литературно-художественное издание

Автор-составитель

Дмитрий Алексеевич Щеглов

ФАИНА РАНЕВСКАЯ:

«СУДЬБА — ШЛЮХА»

Редактор *Е. П. Бочков*

Технический редактор *Н. В. Сидорова*

Корректор *Г. Н. Страхова*

ООО «Издательство Астрель»

143900, Московская обл., г. Балашиха,

пр-т Ленина, д. 81

ООО «Издательство АСТ»

667000, Республика Тыва,

г. Кызыл, ул. Кочетова, 28

Наши электронные адреса:

www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

**Ордена Трудового Красного Знамени
ГУП Чеховский полиграфический комбинат
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
142300 г. Чехов Московской области
Тел. (272) 71-336, факс (272) 62-536**